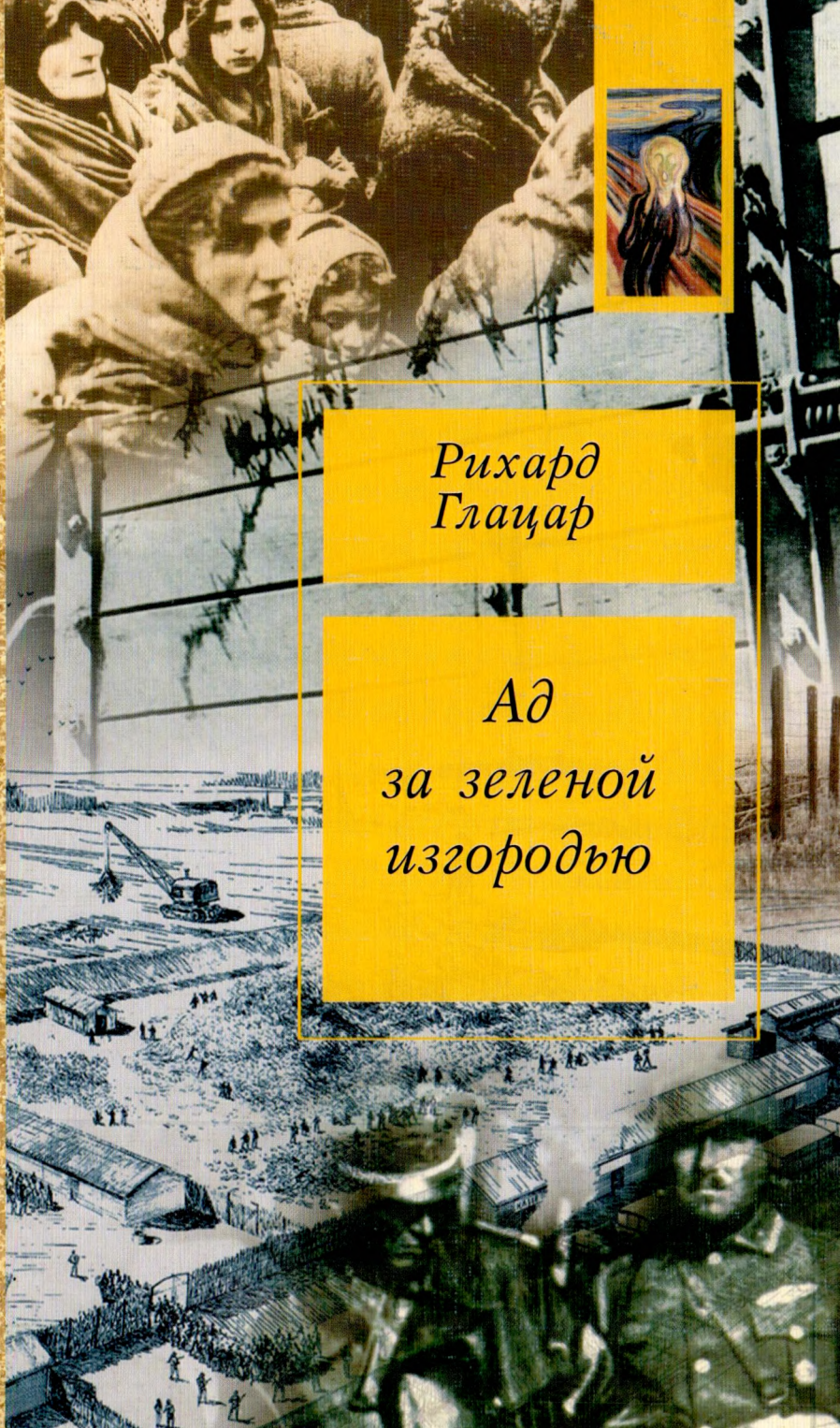


Р. ГЛАЦАР Ад за зеленой изгородью



Рихард  
Глацар

Ад  
за зеленой  
изгородью

*Книга издана при поддержке  
благотворительной организации  
Институт «Открытое общество»  
(Фонд Сороса)— Россия  
в рамках программы  
«Горячие точки»*



*Richard  
Glazar*

---

*Die Falle mit  
dem grünen Zaun*

ÜBERLEBEN IN TREBLINKA

*Рихард  
Глацар*

---

*Ад за зеленой  
изгородью*

ЗАПИСКИ ВЫЖИВШЕГО В ТРЕБЛИНКЕ

*Перевод с немецкого  
Елены Зись*

*Предисловие  
Вольфганга Бенца*

*Послесловие  
Александра Эбаноидзе*



«ТЕКСТ»  
ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ»  
МОСКВА 2002



УДК 821.112.2  
ББК 84(4Гем)  
Г52

*Художник Антонина Иващенко*

*В оформлении серии  
использован фрагмент картины  
Эдварда Мунка «Крик»*

ISBN 5-7516-0308-7

© 1992 Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main  
© «Текст», издание на русском языке, 2002

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Если открыть распространенный в Германии энциклопедический словарь и найти статью «Треблинка», то можно прочесть, что это — лагерь уничтожения, находившийся к юго-востоку от Варшавы и существовавший с 1942 по 1944 год. «В целом в Треблинке было уничтожено около 900 000 человек, в основном евреев, в том числе 323 000 евреев из Варшавского гетто. В 1943 году узники подняли восстание, в котором приняли участие около 1000 заключенных».

Тут многое требует дополнения, а кое-что и исправления. Лагерь уничтожения Треблинка находился не юго-восточнее, а северо-восточнее Варшавы, на границе «Генерал-губернаторства Польша» — польской территории, оккупированной Германией. Машина уничтожения была запущена 23 июля 1942 года, восстание заключенных вступило в свою последнюю фазу 2 августа 1943 года, 18 и 19 августа в Треблинку прибыли два последних эшелона из гетто Белосток (по-польски Бялысток). С осени 1943 года по приказанию палачей в Треблинке только замечали следы преступления.

Неопределенные и ошибочные данные, содержащиеся в справочнике, являются лишь доказательством того, как мало нам известно об одном из самых страшных мест организованного убийства людей. А также доказательством, что история этого лагеря предана забвению, — забыто даже, где он находился.

Дополняя энциклопедический словарь, следовало бы сказать, как именно убивали в Треблинке. Дело в том, что — в отличие от Освенцима — людей отравляли выхлопными газами работающих моторов. Газы нагнетались в помещения, куда людей загоняли, словно скот, тысячами. К жестокости эсэсовцев и их украинских подручных добавлялись технические неполадки, когда моторы ломались, и полумертвым жертвам приходи-

лось ждать, пока отремонтируют орудие убийства. После Освенцима-Биркенау Треблинка была самым большим лагерем, где национал-социалисты поставили массовое убийство людей на промышленную основу.

Немногие выжили в Треблинке. Рихард Глацар, один из участников восстания августа 1943 года, записал историю этого лагеря сразу же после окончания войны, еще до своего возвращения в Прагу. Но для рукописи, написанной на чешском языке, не нашлось издателя, и она пролежала в столе больше четырех десятилетий. В 1990 году Рихард Глацар перевел ее на немецкий язык для публикации в серии «Воспоминания и свидетельства евреев», несколько сократил и дополнил сведениями о своей дальнейшей жизни.

Рихард Глацар родился в 1920 году в Праге в семье богемских евреев. Его отец был офицером австро-венгерской армии, в семье говорили на чешском и немецком. До 1939 года, когда немцы вступили в Австрию, семья Глацаров знала об антисемитизме скорее понаслышке, чем из собственного опыта. Родители спрятали 19-летнего Рихарда в захолустной деревне, где он спокойно живет до лета 1942 года. Потом он попадает в руки немецких оккупантов, в начале сентября его отправляют в гетто Терезин, а в начале октября — в Треблинку.

Десять месяцев пробыл Рихард Глацар в этом аду. Потом — побег через Польшу, работа под чужими документами в Германии, воздушные налеты, страх перед освободителями, — кажется, опасения заканчиваются только после возвращения в Прагу, летом 1945 года. Из всей семьи, кроме него, выжила только мать, прошедшая через Освенцим и Берген-Бельзен.

После войны Рихард учится в Праге, Париже и Лондоне, получает диплом экономиста, становится жертвой сталинизма. Когда «Пражская весна» закончилась неудачей, он покинул родину. С 1969 года живет в Швейцарии.

В 1957 году, во время деловой поездки, Рихард снова побывал в Треблинке. Еще раз ему пришлось вспомнить о своей истории в 1963 и в 1971 годах: в Дюссельдорфе проходят два процесса против убийц, орудовавших в Треблинке, и их помощников; на обоих процессах он дает показания об убийстве евреев. Всего 54 выживших узника откликнулись на призыв судебных властей, чтобы помочь торжеству справедливости.

Рихард Глацар, написавший свои воспоминания сразу после войны, потом в течение многих лет больше не говорил о

выпавших на его долю испытаниях. Свои записи он рассматривает как завещание, как свидетельство о действительно произошедшем убийстве народа, которое все время отрицается теми, кто не желает ничего знать, потому что, по их мнению, не существует «неопровержимых доказательств» существования Освенцима и Треблинки, Собибора и Бельжеца.

*Вольфганг БЕНЦ*





**АД ЗА ЗЕЛЕННОЙ ИЗГОРОДЬЮ**



## ЗВЕЗДЫ ЗАПАЧКАНЫ ПРАХОМ ЗЕМНЫМ

Начало 1940 года. «Посещение неарийцами не желательно». Самые рьяные уже повесили в Праге над входом в свои кафе такие надписи, еще до того, как в оккупированной Чехословакии был издан приказ вывешивать официальную табличку «Евреям вход воспрещен» на дверях всех ресторанов, пивных и кабачков, театров и кино.

Несмотря на это, я хожу в кино, хотя и не так часто, как раньше. Разумеется, тайком, дома об этом не должны знать.

Иногда в кино еще показывают фильмы, которые, собственно, уже нельзя показывать, которые скоро будут запрещены. В кинохронике — воздушный налет японцев на китайские города. Бомбы падают и взрываются, дома рушатся, повсюду огонь и дым, вой моторов и сирен. Посреди площади в каком-то городе стоит на коленях молодая китайка. Снова и снова она приподнимается, воздевает руки к небу и опять падает на почти раздетого, залитого кровью младенца. Снова и снова обвиняет она убийц. С этого дня Mater Dolorosa, Матерь Скорбящая, — а ее изображений много в барочной Праге — всегда напоминает мне эту молодую китайку.

Действие американского фильма «Шангри Ла — потерянный рай» происходит в затерянной долине в Гималаях. Там, среди вечной весны, живут люди разного происхождения. Они в меру грешны, в меру сластолюбивы и могут долго наслаждаться жизнью, потому что в этом климате люди живут по несколько сотен лет. По вечерам, лежа в постели, перед тем как заснуть, я уношусь отсюда в Шангри Ла.

Но нет, не в Шангри Ла, бежать через несколько недель приходится в глухую деревню. Прочь из Праги, подальше от опасности, так решили родители. Я должен работать здесь за



стол и жилье столько времени, сколько будет возможно. Это были последние слова, которые они мне сказали. Говорят, их вывезут из Праги осенью 1941 года. Они заказывали телефонный разговор с уведомлением. Целый час я буду идти через лес в городок на почту. Родители в Праге тоже звонили с почты, потому что иметь дома телефон им было уже запрещено.

В деревне, высоко над стремнинами Влтавы, моими товарищами днем были две рабочие лошади, а вечерами — книги. Желтую звезду с надписью «еврей» я прикреплял в тех редких случаях, когда мне приходилось спускаться в городок, например, чтобы отвезти зерно на мельницу. Люди там вовсе не злы, но слишком много болтают, может быть, им просто интересно увидеть, что будет с евреем, если его заметят без звезды. Немцы уже многое заметили только потому, что люди болтали слишком много. Молчание — золото, болтовня — гестапо.

Там внизу я встречаю и других людей со звездами. Почему старшие все время говорят, что они гордятся своими звездами, что носят их с достоинством? Шагая с поводьями в руке рядом с телегой, я иногда ловлю себя на том, что все время немного прикрываю желтую звезду. Незаметно я разглядываю людей вокруг, выискиваю уродливых, покрытых шрамами, косых, хромых, горбатых и прикидываю, с кем я хотел бы поменяться местами, а с кем — нет. Это хорошая игра.

Вечером, устроившись в своей комнатке, которая служит мне одновременно и гостиной, и спальней, я читаю про древнюю Корею, страну маленьких поэтов, завоеванную и поработенную японцами: «Растоптаны прекрасные посевы, / превратились в болота тропинки, / звезды запачканы прахом земным».

И я говорю себе, что все уже однажды было.

## СО СКОТОМ ОБРАЩАТЬСЯ Я УМЕЮ

«В другое гетто на востоке» — так было записано в распоряжении о переводе. Код эшелона — Ви. Мой личный регистрационный номер — 639. Прошло всего четыре недели с тех пор, как меня депортировали в гетто Терезин в протекторате Богемия и Моравия. Там у меня был номер Bg-417.

В начале сентября 1942 года они все-таки схватили меня в этой глухой дыре. И даже в Терезине мне не дали освоиться.

— Я должен доставить туда тысячу голов, тысячу, не меньше и не больше. И если кто-то на ходу высунет голову — буду стрелять! — Охранник в ядовито-зеленой форме полевой жандармерии кричит так, чтобы это услышала тысяча людей, согнанных на платформу в Терезине.

Поезд останавливается часто и стоит, особенно ночью, подолгу. На третье утро мы понимаем по надписям, что должны быть где-то в Польше. Вскоре после полудня мы снова останавливаемся. Видно здание железнодорожной станции с надписью «Треблинка». Часть вагонов отцепляют. На изгибе путей видно, как передние вагоны сворачивают на одноколейку. С обеих сторон — лес. Поезд движется совсем медленно. Можно разглядеть отдельные сосны, березы, ели.

Лес становится реже, все оживляются, прижимаются к закрытым или едва приоткрытым окнам, но никто не решается выглянуть. Высокий зеленый забор, открытые ворота, через которые не спеша проезжает наш вагон. Почти 4 часа по полудни, 10 октября 1942 года.

— Выходить, всем выходить, быстрее! Тяжелый багаж оставить в поезде — его потом принесут!

Перрон, за ним — деревянный барак, на перроне люди в сапогах, но в гражданской одежде. У одного в руке какая-то длинная, странная штука — кожаная плетка. Должно быть, это обычные люди, не евреи, на них нет желтых звезд. Кое-кто в эсэсовской форме, тоже с плетками, а некоторые — с автоматами. Напоминает городок на диком Западе, а позади — ферма с высоким зеленым забором. Забор такой симпатично-зеленый, наверное, это большая ферма, и там много скота — а со скотом обращаться я умею. С перрона нас ведут на плац. С обеих сторон — ряды деревянных барачков.

— Мужчины — направо, женщины с детьми — налево! Багаж на землю! Раздеться — догола!

Некоторых — совсем раздетых или полуодетых — отводят в сторону. Теперь они одеваются. Наверно, их отправят дальше. Это лучше? Или хуже?

— Документы и часы взять в руки!

Рослый эсэсовец что-то объясняет, сопровождая свою речь резкими жестами. Я стою далеко и ничего не слышу. Что? Мыться, а потом сразу на работу? Я, раздетый догола, стою в конце очереди. В такую погоду мне совсем не хочется мыться. Эсэсовец в пилотке быстро проходит вдоль очереди. Уже пройдя мимо и едва скользнув по мне глазами, замедляет шаг. Вот он останавливается, смотрит на меня через плечо, а потом и совсем поворачивается ко мне:

— Ты тоже выходи. Одевайся, быстро, встань туда, к тем. Звезду долой, часы и нож нельзя, так... Будете работать тут. Постараетесь — сможете стать бригадирами или капо. А сейчас — за работу!

Я иду назад, сквозь прикрытые зелеными ветвями ворота, за углом — еще одни ворота, эти открыты лишь наполовину. Проходя мимо них, я вижу большой плац, а на нем огромные кучи, прямо горы вещей. И вот мы уже внутри, в бараке. Пахнет деревом, плесенью, снаружи слышен грохот какой-то машины, наверное, это трактор. Повсюду люди в гражданской одежде. Они бегают взад-вперед и тащат на спинах какие-то узлы.

— Это ваш бригадир.

Рослый красивый парень с плеткой в руке и желтой нарукавной повязкой с надписью «Бригадир» жутко кричит на работающих людей. Я не понимаю слов, но по выражению его лица и жестам догадываюсь, что бегающие люди должны разобрать одежду, беспорядочно сваленную на пол барака, рассортировать ее, связать в узлы и унести.

— Послушайте, — я пробую говорить по-немецки. — Что здесь происходит? Где все остальные, те, раздетые?

— Мертвы, все мертвы, а если еще нет, то уж точно через несколько минут. Это — лагерь смерти, здесь убивают евреев, а нас выбрали, чтобы мы им помогали.

Он старается говорить так, чтобы было похоже на немецкий. Многие слова я понимаю, остальное додумываю. Он стоит надо мной на огромной горе одежды, из которой люди в дикой спешке вытаскивают отдельные вещи, дергают, рвут их и куда-то убегают. Я гляжу вверх, на него; он стоит, разведя руки, на запястье висит плетка.

— Ты из Чехии? И ты не понимаешь идиш? Осторожно! — Он кивает на дверь, где появилась зеленая с черным эсэсовская форма. Жилы на его шее надуваются, загорелое гладкое лицо становится красным, рука начинает раскачивать плетку. — Давай уже, хватай эти тряпки, шевелись, ради Бога, шевелись, иначе не протянешь и до вечера!

Быстро, быстро что-нибудь делать — как вон тот — или тот. Я вытаскиваю из кучи что-то вроде простыни, разворачиваю ее, кидаю на нее обрывки одежды и хочу все это завязать в узел...

— Больше, больше, узел должен быть больше, если хочешь сюда вернуться!

Я взваливаю узел на плечо и хочу выйти на большой плац. Я уже почти у двери, когда что-то падает мне на голову: полный мешок. Я пошатнулся, с большим трудом удержал равновесие. Снаружи перед дверью прогуливается эсэсовец, в черной форме, в пилотке, очень молодой, по-видимому, очень здоровый, и, улыбаясь, подгоняет нас ударами плетки:

— Бегом, все время бегом!

Ага, здесь надо бегать, шагом ходить нельзя. Я едва успеваю оглядеть огромный плац. Горы одежды, обуви. И повсюду, как и в бараке, снуют туда-сюда люди.

— Бегом, все время бегом! Быстрее, быстрее! — кричат и машут плетками люди в черных и зелено-черных мундирах и другие, с желтыми нарукавными повязками, как тот, в бараке.

У одной из куч у меня забирают узел. Когда бегу назад, успеваю прочесть надписи на нарукавных повязках: «бригадир» и «капо».

Что сказал тот парень в бараке? «Мертвы, все мертвы» — все раздетые, голые, все, кто остался за зеленым забором. Я вспоминаю: поезд остановился, а потом медленно, почти со скоростью пешехода свернул к лесу. Справа была просека, за ней открывалась равнина, тянувшаяся до горизонта. Там паслись коровы, а при них — босоногий пастушонок, — ожившая картинка из старого букваря. Он смотрел на поезд. Один из нас крикнул ему что-то сквозь едва приоткрытое окно. На таком большом расстоянии, да еще и по-чешски —



мальчик ничего не мог понять. Он только слышал крики и видел вопросительные взгляды людей за стеклами. Пастушонок схватился обеими руками за шею, словно хотел удавиться, выпучил глаза, высунул язык — так мальчишки корчат рожи. На мгновение он застыл так, потом отвернулся и побежал обратно к своим коровам.

Теперь я слышу стук колес: въезжает вторая часть эшелона. А ведь там Карл Унгер со своими родителями и младшим братом. В последнее время в Терезине я всегда останавливался у них, когда проезжал мимо на своей телеге. Он сидел наверху, в своем «убежище», болтал ногами и, казалось, ждал меня. Иногда он меня останавливал. Я загадываю, как раньше, в школе, перед трудной контрольной: «Если *они* оставят и его, то с нами обоими все будет хорошо».

Я возвращаюсь к своему бригадиру.

— Слушай, а где здесь спят?

— В бараках.

— А как насчет еды? — Что за глупости я спрашиваю...

— Хоть объешься. — Он делает движение рукой, словно хочет обнять меня. Тут же все в нем напрягается, он несколько раз хлещет плеткой по узлам на спинах людей, уже приготовившихся бежать. — Через два-три дня, если еще будешь жив, поймешь, что в Треблинке есть все — все, кроме жизни. Меня зовут Леон. А тебя?

Вводят еще одну группу. В ту самую минуту, когда я разглядел среди них Карла, он уже выкрикивает мое имя. Он немного выбился из шеренги. Он уже все знает, и все-таки в его голосе звучит вопрос, нежелание знать:

— Мать... отец... брат.

К вечеру с нескольких сторон раздаются свистки. Нас всех плетками сгоняют в шеренги по пять человек. Мы маршируем вдоль перрона, вниз по склону в другой барак. Над нами несколько высоких сосен, странно искривленных, их кроны наверху совсем темные. Через окошко выдают жестяные миски и хлеб: этот барак — столовая.

Я жадно пью из кружки черный эрзац-кофе. Он льется через край мимо рта, но я не могу остановиться, не могу оторваться от кружки. Я чувствую жажду, ужасную жажду. Собственно говоря, я уже двое суток ничего не пил. Может,

поэтому у меня в голове так пусто, словно мозги усохли. Нет, у меня в голове торчит палка, если схватить ее за оба конца, то меня можно на ней поднять, подвесить, меня можно на ней опустить на землю, меня можно на ней крутить в разные стороны. Кто-то протягивает мне полную миску и забирает пустую. Но это человек не из нашего эшелона. Мы все стоим здесь вместе, нас примерно двадцать. У того, что дал мне миску, такое выражение лица, будто он рад, что я пришел — вслед за ним, вслед за ними, вслед за другими.

Клиновидную порцию грубого хлеба я бросаю в кучу хлебных кусков разной величины и разных сортов. Темные караваи, беловатые булки с зелеными пятнами плесени, недоеденные батоны, склеившиеся ломти перемешаны с чем-то еще, что раньше было, вероятно, съедобным.

Через какое-то время — снова свистки, нас снова сгоняют в шеренги, снова удары и удары, пока мы не оказываемся в бараке, там наверху, на плацу, где днем нам велели раздеваться. Загорается несколько свечей. Голый пол, повсюду только песок. Все ложатся, куда могут, дерутся за место, спотыкаются друг о друга, падают. Между тем снаружи раздается приказ: «Потушить свет, спать!» На закрывающуюся дверь с крыши барака, стоящего напротив, падает конус света.

Удушающий запах тел, дерева и песка, который теперь отдает накопленное за день тепло. Тысячи иголок вонзаются мне в тело, и меня одолевает зуд. Наверное, в песке полно блох.

Слышны вздохи, стоны, кто-то вдруг вскрикивает, крик переходит в вой и рев. Теперь кажется, что кого-то бьют, проклинают, упрашивают, уговаривают. Ко мне прикасается рука Карла:

— Похоже, кто-то повесился...

Скоро все затихает. А потом среди тяжелого дыхания множества людей раздаются жалобные звуки и слова: «Итгадал веиткадаш». Но я же знаю, что это. Это — кадиш, еврейская поминальная молитва.

## СЛИШКОМ БОГАТОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Трудно сказать, скольких *они* тогда отобрали из тысячи, прибывшей нашим эшелонам, — больше или меньше двадцати. Некоторых я сразу же потерял из виду. Говорят, один в первую же ночь проглотил целую упаковку снотворного. Еще один выбрал тот же путь на следующий день, чтобы в смерти присоединиться к своей жене и ребенку.

Теперь я знаю, что произошло с нашим эшелонам и что происходит со всеми прибывающими сюда эшелонами. Еще до ворот, когда поезд сворачивает на однокорейку, от него отцепляют определенное число вагонов. Иногда туда набито по пятьсот человек, иногда — еще больше. Локомотив медленно тянет вагоны через ворота. Потом происходит то, что я сам пережил:

— Выходить, быстрее! Ручную кладь с собой, тяжелый багаж оставить в вагоне, его принесут потом!

Людей ведут по платформе к «раздевалке». Это — окруженный зеленым забором плац, где мы должны были раздеться догола, чтобы «помыться в целях дезинфекции». Обнаженных женщин и детей ведут в «парикмахерскую», где им, как овцам, стригут волосы. Женские волосы пойдут на изготовление герметизирующих прокладок для моторов. Мужчины, тоже уже раздетые донага, должны тем временем составить ручную кладь, принесенную с собой, в том углу «раздевалки», который находится ближе всего к сортировочной. Эсэсовцы заставляют их бежать. Тогда легкие работают интенсивнее, и потом в газовой камере все происходит быстрее.

Затем всех вместе, обритых женщин с детьми и запыхавшихся мужчин, прогоняют через «трубу» во вторую часть лагеря. «Труба» — это маленький проход из колючей проволоки, который напоминает клетку, через которую в цирке выпускают на манеж диких зверей. Но этот проход длиннее, он изгибается, и невозможно ни выглянуть оттуда, ни заглянуть туда. Колючая проволока переплетена зелеными еловыми и сосновыми ветками. На границе между обеими частями лагеря прямо в «трубе» устроена «маленькая касса». В окошко этой деревянной будки нужно сдать свои документы, часы и украшения. Здесь у евреев отнимают их имена, а немного дальше — обнаженную, безымянную жизнь.

Пока одна группа с эшелона бежит по «трубе», в лагерь въезжают вагоны со следующей группой. За это время уже закончено «мытьё» первой группы, а до того, как вторая войдет в проход, «душевые» будут уже освобождены и готовы принять новую партию.

С эшелонами из Дармштадта, из Терезина, вообще с Запада, в которых узники приезжают в пассажирских вагонах, обращаются еще мягко. Кажется, они еще ничего не знают. Люди гонят от себя любое подозрение. Никто не может представить себе своей собственной смерти — вот такой, обнаженной смерти.

Те, кого привозят с Востока, из Варшавского гетто, из Гродно или еще откуда-то, после поездки в битком набитых вагонах для скота прибывают в Треблинку уже полуживыми. Большую часть заталкивают в проход с «душевыми кабинками» по обеим сторонам. Остальных эсэсовцы и украинские охранники загоняют туда плетками. После команды «Иван, воду!» украинец-эсэсовец запускает моторы. Из душа вместо воды в камеру поступают выхлопные газы. Примерно через 20 минут готов «конечный продукт», производимый в Треблинке. И другие рабы уже хватают этот раздетый, спрессованный, пепельно-серый с фиолетовым отливом «продукт». Одни выволакивают трупы через широко распахнутые проемы в стенах камер, другие специалисты выламывают у мертвецов золотые зубы. («Зубные врачи, зубные техники и те, кто разбирается в золоте, — в сторону, одевайтесь, вы будете работать здесь...») Еще одна группа рабочих относит трупы в общие могилы. Потом — заключительные технологические процессы: «припудривание» известью и засыпание песком (почва в Треблинке песчаная), — их выполняет непрерывно работающий экскаватор. Это его треск я слышал в первый день.

— Больные и те, кто не может ходить — в сторону! Вы отправляетесь в лазарет на обследование! Старик, ты тоже! И ты, с ребенком!

«Лазарет» расположен в верхнем углу сортировочного плаца вплотную к песчаному валу, это почти ровный квадрат площадью 25 на 25 метров. В него ведет узкий, со многими поворотами проход, похожий на лабиринт в детском



парке. Высокие, выше человеческого роста, зеленые стены из еловых ветвей. В конце прохода — маленький домик с эмблемой Красного Креста. Красные кресты на нарукавных повязках кое у кого из работающих там людей. Наконец-то: здесь ты отдохнешь, у этих добрых санитаров. Только потом хромой старик замечает трупы в глубокой яме и эсэсовца с автоматом, стоящего над ней. А затем одна-единственная «таблетка», выпущенная точно в затылок, освобождает любого больного, дряхлого, увечного, который мог бы замедлить продвижение в «душ», от всех его болезней.

— Дорогой друг, что с тобой? Ты больше не можешь? Симулянты и калеки нам тут не нужны. Давай, давай, иди вперед!

— Но, господин шарфюрер... господин начальник... я... прошу вас... я...

Страх и просьбы действуют как зажженный запал.

— Ах ты, скотина, мерзкая еврейская свинья. — Автомат в одной руке, в другой — плетка. И вот она уже со свистом опускается на голову и задевает лицо. Руки жертвы рефлекторно поднимаются вверх, чтобы защитить голову. Но рука с плеткой уже приготовилась к следующему удару, на этот раз — в обратном направлении, снизу вверх, прицельно по лицу.

Этот удар заставляет поднять опущенную голову. И две безоружные руки никак не могут попасть в такт движению руки с плеткой. Так оба приближаются к «лазарету». Лицо превратилось в сплошную кровоточащую рану, нос распух, углы рта, из которых течет кровь, низко опущены.

— Раздеваться! — Они уже внутри, в «лазарете». «Самаритянам» приходится срывать с жертвы одежду, ставить ее на край ямы, укрепленный куском дерева. Трамплин в вечность.

Выстрел из автомата или пистолета, и обнаженный человек... Что может сделать такой обнаженный человек? Один приподнимается на носках, словно для настоящего прыжка с трамплина, и опрокидывается в яму. Другой сразу падает и скатывается по склону. Кто-то раскидывает руки, а кто-то дергает ногами. Каждый раз все иначе, одна сцена никогда в точности не повторяет другую. Унтершарфюрер СС Август Вилли Мите, волосы цвета соломы, пилотка сдвинута на затылок, с молчаливой увлеченностью стороннего наблюдате-

ля делает все новые и новые фотографии того мгновения, когда заканчивается жизнь и начинается смерть — этого волнующего, загадочного изменения.

Во время вечерней переключки где-то во второй половине октября дежурный унтершарфюрер докладывает худому, вечно разъяренному гауптшарфюреру СС Кюттнеру:

— Тысяча шестьдесят восемь евреев, из них двенадцать евреек, четырнадцать евреев — в лазарет.

Значит, уже завтра утром *они* будут выбирать новых людей для пополнения. Каждый раз это вызывает у нас волнение: когда их приведут, когда к ним придет понимание — никто не может этого постичь сразу, никто не может в это поверить. Для этого нужно слишком богатое воображение...

## ТРЕБЛИНКА

Название *они* позаимствовали у маленькой деревушки, расположенной неподалеку, собственно, просто горстки нищих крестьянских домишек. Ближайшая железнодорожная станция называется Малкия. Это примерно в ста километрах к северо-востоку от Варшавы. Главный железнодорожный путь ведет в Бялысток; в лагерь — отходящая от него одноколейка. Повсюду песок, песок, из него растут высокие сосны, покрытые застывшей смолой. Может быть, они выбрали это песчаное место в излучине Буга, недалеко от бывшей русско-польской границы, чтобы было легче выкапывать и закапывать общие могилы.

Весь лагерь занимает площадь примерно 400 на 600 метров. Он окружен высоким — до 2,5 метров — забором из колючей проволоки, которая переплетена сосновыми ветками. Эта стена из зеленых веток сооружена на валу высотой примерно в один метр, поэтому кажется еще выше. Внутри лагерь поделен на различные площадки и помещения, окруженные такими же заборами, чтобы через них ничего нельзя было увидеть — этого требует «производство».

Всем руководят эсэсовцы. У них есть помощники — молодые украинцы, служащие охранниками. А кроме того, у них есть еще мы, нас примерно тысяча, это число постоянно пополняется людьми с вновь прибывающих эшелонов. Меж-

ду платформой, на которую прибывают поезда, и высоким песчаным валом на другой стороне расположена первая — и большая — часть лагеря, приемник. За валом находится вторая часть, занимающая не более четверти всей площади, это — лагерь смерти. До сортировочного плаца, самого большого в лагере, еще продолжается жизнь, она громоздит всевозможные предметы в странные кучки, кучи и горы. По ту сторону вала — царство смерти. Те, кто на той стороне вытаскивают трупы из газовых камер и отволакивают их в общие могилы, мертвы в гораздо большей степени, чем мы с этой стороны. Никто, за кем однажды закрылись ворота Треблинки, никогда не сможет вернуться к жизни. Ни для кого из переступивших границу лагеря смерти нет пути назад.

Чаще всего новеньких определяют в те бригады, которые разбирают вещи из эшелонов на сортировочном плацу. Их еще нельзя направить в специальные бригады. В «синие», например, где люди с синими нарукавными повязками встречают эшелоны на станции и должны как можно быстрее убрать прибывших и их багаж с платформы. Или в «красные» — там работники с красными повязками помогают людям на плацу-раздевалке снимать одежду и срывают платья с женщин, отказывающихся раздеваться. Для этого надо быть уже достаточно очерствевшим, многое повидавшим и ко многому притерпевшимся.

В верхней части сортировочного плаца в землю вбиты столбы с дощечками, на них надписи: «хлопок», «шелк», «шерсть», «тряпье». Оттуда до середины плаца нагромождены огромные кучи рассортированных вещей в узлах, перевязанных простынями или веревками.

В нижней части сортировочного плаца навален материал для бригад, занимающихся сортировкой, — вещи с эшелонов, которые принесли «синие» с платформы и «красные» из «раздевалки». Чемоданы и рюкзаки, простые мешки, затянутые веревками, тысячи пар сапог, сложенных черной, неровной, осыпающейся горой; элегантные полуботинки и поношенные домашние шлепанцы, тонкое дамское белье, рваные завшивевшие пальто.

Невозможно представить, что взяли с собой в последнюю дорогу все эти тысячи людей. Чемоданчик, оснащенный как

маленькая лаборатория; складная кожаная сумка, а в ней слесарные инструменты; набор шприцов с блестящей коробочкой для стерилизации. Огромная барахолка, на которой есть все — кроме жизни. Ветер разносит по плацу банкноты — зеленоватые польские злотые, красноватые русские рубли, немецкие марки, американские доллары. Валяются драгоценные камни и золотые украшения, ценности, которые легко нести, медальон в виде золотого сердечка. На красную перину с темными пятнами брошена черная шляпа какого-то раввина, рядом — ножной протез, детский костыль. Мне становится смешно: «Вера — моя опора в жизни», — а вот эта опора будет поддерживать огонь в «лазарете».

Теперь я уже привык к сортировке вещей. Я внимательно наблюдаю, собственно, я прежде всего наблюдаю, и работаю, наблюдая. Постоянно быть настороже, непрестанно ожидать, откуда может прийти беда, откуда раздастся предупреждение — явное или просто понукание; внимательно следить, откуда может появиться фигура в зелено-черной форме с черепом на фуражке, в каком направлении она движется, когда она обернется, что она сможет увидеть, что означают ее поза и ее жесты. Иногда мне приходит в голову, что я словно бы упражняюсь в этом виде деятельности и в искусстве выживания, что мне доставляет удовольствие оттачивать свое мастерство в этой опасной игре, где на кону — моя собственная жизнь. Тот, кто непрерывно работает в навязанном плетками темпе, кто нагружает на себя как можно больше, кто не умеет почувствовать, когда даже самым яростным эсэсовцам и их подручным на время надоедает нас подгонять, — доводит себя до полного изнеможения. Тот, кто делает слишком большие паузы и пропускает очередной прилив активности охраны, — тоже конченный человек.

Когда мне хочется есть, я выжидаю подходящий момент, забегаю с узлом на спине за кучу сваленных продуктов и набиваю себе полный рот. Никогда за последние два военных года мне не доводилось есть так много масла, шоколада, хлеба. Из другой кучи я вытаскиваю себе рубашку, каждый день — новую, каждый день — от нового мертвеца. Грязную бросаешь незаметно на еще не разобранный кучу или просто в огонь.

— Что, бумаги? Да оторви себе кусок от женской сорочки! — Новенького в Треблинке узнают еще и по тому, что он спрашивает, где взять бумагу для туалета. Бумаги здесь не так много, как шелка, если не считать деньги. Если *они* застукают кого-то, когда он берет что-нибудь из кучи для себя, штраф известен: вначале его будут бить, пока не лишат человеческого лица, потом в «лазарете» — смерть голышом. Но так бывает не всегда. Многое зависит от того, кто из эсэсовцев тебя застукал, в каком он настроении, и от того, был ли он один, или их оказалось несколько сразу. Достаточно, чтобы другой эсэсовец издали увидел, что происходит, и чтобы оба знали о присутствии друг друга. Тогда один начинает избивать жертву, другой присоединяется, и вот уже каждый старается превзойти другого, чтобы доказать, что он «лучше».

Интересно, почему *они* не выдали нам, заключенным, какую-нибудь одинаковую одежду? С номерами, конечно. Почему нам разрешено носить гражданское, почему нам даже приказали сорвать желтые звезды? Но разве мы еще заключенные, евреи или вообще люди? Нас больше нет, мы больше не существуем, мы мертвы, причем так мертвы, что сами об этом знаем... Стоп, так нельзя, ты не должен так думать — иначе у тебя сдадут нервы, как прошлой ночью у того, которого еще до утренней переключки отвели в «лазарет». А может быть, гражданская одежда должна вводить в заблуждение людей из новых эшелонов, которые могут нас увидеть. Особенно это относится к «синим» на перроне и к «красным» в «раздевалке».

— Тшмай се — держись, ты должен выдержать! — Один из тех, кто часто говорит по-польски, пустил это слово, и вот оно уже стало приветствием, паролем. Да, вот оно — держись, выпрямись, выстой, найди правильную манеру поведения! Но не так, как снаружи, на воле. На, надень зеленый пиджак к светло-бежевым брюкам! Повяжи на шею шелковый желтый с красным платок! Это на *них* как-то действует. Оде того так не бьют плетками. А если сегодня это все испачкается или порвется, то завтра ты наденешь что-нибудь еще более лихое, еще более бросающееся в глаза.

Вон те двое, в середине, они сортируют или выбирают что-то для себя? Сразу не скажешь. А вот тот, он просто по-

правляет сапоги или надевает другую пару, лучше? Да, парень, чем ярче блестят твои сапоги, тем меньше ты получишь по морде. Вон там — целая коллекция крема для обуви. Если тебе удастся израсходовать весь этот крем на свои сапоги, то ты можешь дожить до солидного возраста. Только смотри, не перестарайся. Выбирай себе красивые вещи, но все-таки не настолько красивые, чтобы *им* захотелось иметь их. И, прежде всего, запомни: человек с небритым, измученным лицом прямо-таки напрашивается на удар плеткой и на жуткий «лазарет».

То, что в «лазарете» лагеря уничтожения Треблинка выполняют выстрелом в затылок, в расположенном неподалеку трудовом лагере Треблинка совершают, как говорят, ударом топора. Исправительно-трудовой лагерь существовал здесь уже раньше, и это облегчило сооружение лагеря уничтожения. Уже была железнодорожная ветка к трудовому лагерю, так что понадобилось только проложить несколько метров запасного пути.

Говорят, трудовой лагерь Треблинка был создан еще в 1940 году. Основой для него послужил песчаный карьер. А еще говорят, что для строительства лагеря уничтожения Треблинка в 1942 году использовали заключенных из трудового лагеря. Хороший маскировочный маневр: уже было известно, что Треблинка — это какой-то трудовой лагерь. Рассказывают, что первый эшелон прибыл из Варшавы в июле 1942 года. В то время здесь были только основные сооружения: несколько деревянных барачков, каменное одноэтажное здание с газовыми камерами и машинным отделением, колодец, забор. Тех, кого в течение дня отбирали из эшелонов, расстреливали вечером после окончания работы. Говорят, что тогда эсэсовцы свирепствовали еще страшнее, чем потом, при уже отлаженном производстве.

Постепенно *они* отбирали из эшелонов плотников и слесарей для окончания строительства, шорников для изготовления плеток, портных, которые должны были шить костюмы и униформы, ювелиров для сортировки золота и драгоценностей и тех, кто должен был выламывать у трупов золотые зубы, молодых людей для обслуживания эсэсовцев и женщин, чтобы было кому стирать белье. Из тех, кто рабо-

тал на постепенно набиравшем полный ход «предприятии» у газовых камер и на сортировке, лишь немногие прожили несколько дней.

Треблинка — людям снаружи, в жизни, может показаться, что это слово звучит нежно.

## МОЯ СЛЕДУЮЩАЯ ПИЖАМА

Цепочка согнутых спин, нагруженных узлами, извивается между беспорядочно набросанными горами вещей, не подвергшихся сортировке, и аккуратными кипами уже отсортированных «шерсти», «хлопка», «тряпья». Мелкий песок сортировочного плаца поднимается в воздух и стоит столбом от непрерывного бега сотен ног. А этот человек передо мной, как странно он передал свой узел тому, кто стоит наверху: дотронулся до внутренней стороны его ладони и провел по ней пальцами. Мне любопытно, повторится ли этот жест и в следующий раз. Да, да — он вложил что-то в его ладонь, когда подавал свой узел. И не только он, так делают еще несколько человек. Изможденный старик с бледным лицом, покрытым прожилками, который бежит сзади, слегка касается меня:

— Ты — Рихард? А перед тобой — Карл? Чехи? Я Давид. Прежде чем начнете сортировать вещи для следующего узла, задержитесь около меня. Я объясню вам, в чем дело. Мы должны сообщить всему миру...

Вот так Давид Брат, старик с выступающими зубами и длинным носом, открыл нам секрет. Эти двое, что работают наверху кучи с отсортированными лохмотьями и принимают наши узлы, из Варшавы. Они знают местность, да и вообще ориентируются здесь. Они попытаются бежать. Мы должны им помочь. Их задача — сообщить о Треблинке. Рассказать о Треблинке подпольщикам Варшавского гетто. А те потом попытаются передать сообщение через польское подполье за границу — в Англию.

Какое это замечательное чувство: я тоже принимал в этом участие и тайком передавал тем двоим деньги, найденные при сортировке. А им понадобится много денег. Намного больше, чем люди получают за каждого выданного еврея.

Удалось. Со вчерашнего дня обоих нет в лагере. Незадолго до вечерней переключки они спрятались между кучами вещей. Когда нас пересчитывали эсэсовцы, все было уже в порядке. Не то капо Курланд из «лазарета» дал неверные сведения о том, сколько из нас закончили этот день в «лазарете», и просто завысил число на два человека, не то староста лагеря, инженер Галевский, устроил это. Как? Вечером «красные» и «синие» под носом у эсэсовцев направили дополнительно двух человек в группу только что отобранных для работ.

Общее число при дневной и вечерней переключке совпало! Просто между двумя проверками на сортировочном плацу трудились две лишние согнутые спины.

Сегодня утром узлы с лохмотьями укладывают в кучу уже двое других заключенных. Для эсэсовцев все на одно лицо. А если *они* все-таки спросят о ком-то, им ответят:

— Господин начальник, господин шарфюрер, вчера господин унтершарфюрер Мите отвел его в лазарет...

Разумеется, нельзя, чтобы вдруг пропал коренастый капо Раковский, или Моник из бригады «синих», или какая-то другая известная фигура. Это должен быть безымянный и безликий человек с сортировки, покрытый пылью, серый от песка, согнутый от постоянного перетаскивания тяжестей.

Приходит большой эшелон из Польши, 5000 человек выгружают в несколько приемов. Для работ отбирают всего одного, одного из пяти тысяч.

Вечером на кухне, когда он сказал, что он из Словакии, ему показали нашу чешскую группу, собравшуюся под большой искривленной сосной. В минуты передышки все собираются в кучки неподалеку от кухни. С кружками и мисками в руках стоят они здесь, евреи из Варшавы, из Ченстохова, из Кельце; маленькая чешско-моравская группка и многие другие. Сегодняшний новичок родом из словацкого Прешова, его зовут Целомир Блох. Можно Цело. Он сюда прибыл вместе с женой. Мы не спрашиваем, каким путем он попал из Восточной Словакии вначале в Деблин, или как там называют это место в Восточной Польше, а потом сюда. Он невысокого роста, скорее приземистый, круглое лицо с маленькими усиками, над высоким лбом выются черные пышные



волосы. Скорее я могу представить его на коне где-нибудь на словацко-венгерской границе, чем в синагоге с талесом на плечах. Уставившись в пустоту поверх жестяной миски, он судорожно пьет, он курит и, словно издалека, отвечает на наши вопросы, которые мы наконец начали ему задавать.

С новичками около кухни всегда повторяется одна и та же сцена, почти без движений, без жестов. Почему я так пристально рассматриваю каждого новенького? Чего я жду? Что он вдруг взвоет, сожмет кулаки, побежит, нападёт на них с отчаянным криком... Нет, он этого не делает. Я жду — и хочу, чтобы он этого не сделал. И чувствую облегчение, когда вижу, что он ничего не предпринимает. Значит, он такое же дерьмо, как я, как все здесь... Ну что ж, добро пожаловать в нашу компанию. Если мы все такие, то, может быть, мы все — не дерьмо. Я вспоминаю, как кто-то протянул мне еще одну кружку и какое у него было лицо — словно он был мне рад. Сейчас к новичку оборачивается долгоязыый Ганс Фройнд и говорит, словно признавая в нем одного из нас, а может быть, и с облегчением:

— Да, здесь тебя вначале выпотрошат, а уж потом забьют, как скотину.

Целомир Блох, Цело — сейчас на нем еще его собственное зимнее пальто, застегнутое, длинное, достающее до грубых сапог. Уже завтра на нем будут «куртка» — короткое польское пальто, и элегантные галифе, и сапоги из блестящей кожи. Конечно, если он выдержит до завтрашнего дня.

Проходят несколько дней. Однажды вечером, когда нас загнали на ночь в барак, мы не сразу ложимся на песчаный пол. Мы садимся в кружок. Только теперь, в беспокойном свете свечи, видно, что у Цело карие глаза, широкий подбородок с ямочкой и какой-то не очень подходящий нежный рот. Рядом с Цело сидит Руди Масарек. Тонкое лицо, светлая кожа, коротко стриженные белокурые волосы, светло-голубые глаза, грудь и плечи, сформированные фехтованием. Там, на плацу, где все раздевались, он так выделялся, что они не могли не отобрать его. Наверно, человека с такой арийской внешностью они раньше видели только на открытках. Руди — полукровка. Вроде бы его мать — не еврейка. Желтую звезду он впервые прикрепил на своей свадьбе и пообещал

щала жене, что снимет ее только тогда, когда она, чистокровная еврейка, сможет снять свою. Они вместе приехали в Треблинку. Она была беременна. Здесь его обещание потеряло смысл.

Ганс Фройнд возвышается над нами даже сидя. Двигается он всегда не спеша и говорит так же. В каждом его слове слышен истинный пражанин. Он употребляет много выражений, принятых у деловых людей, у торговцев готовой одежды. В «раздевалке» Ганса не могли не заметить из-за его размеров. Его жена и маленький сынишка отправились в «трубу».

А Роберта Альтшуля из нашего эшелона заметили совсем по другой причине. Почти все мы были одеты во что-то пригодное для трудной дороги — в сапоги или высокие ботинки на шнуровке, спортивные брюки, куртки, кепки. На Роберте были шляпа с широкими полями, городской костюм, пальто и туфли. Свой зонт он не привязал к чемодану, а держал в руке. Если бы Роберт был стариком, ничто бы в нем не привлекало внимания. Старые люди в эшелоне были одеты так же. Но Роберт производил впечатление юноши и старика одновременно. Так и стоял он на плацу, где все раздевались, может быть, рядом с Карлом Унгером, чье закаленное тело имело коричневый оттенок, потому что раньше он работал на кирпичном заводе в Оломоуце. Медленно и аккуратно Роберт отложил свой зонт в сторону, снял с головы со слишком рано поредевшими волосами шляпу и от холода начал тереть бледную кожу. Еврейский интеллигент, прошедший всю свою жизнь в Праге между медицинским факультетом, кафе, немецким и чешским театрами и своей холостяцкой квартирой. Сейчас он и сам не может толком вспомнить, как все произошло. То ли *они* вначале обратили внимание на то, как аккуратно и безо всякого подозрения он раздевался перед «мытьем», вывели его и только потом спросили, кто он по профессии. То ли вначале спросили, кто разбирается в медицине и медикаментах; а когда он сказал, что он «медик», отвели его в сторону. Такого специалиста у них еще не было. Его определили заниматься сортировкой медикаментов, в больших количествах поступающих с «богатыми» эшелонами.

Выпускной экзамен, который Роберт еще не успел сдать, чтобы получить диплом по окончании своей учебы, ему уже не нужен. Его случай показывает, что людей отбирают по совпадению случайных обстоятельств.

Потому так и вышло, что могильщики в Треблинке — пестрая смесь: силачи, портные, набожные талмудисты, мошенники варшавского дна, рабочие, бизнесмены и финансисты. Эти так называемые «золотые евреи» собирают золото и украшения, сортируют и подсчитывают банкноты самого разного происхождения и, таким образом, продолжают здесь профессиональную деятельность, которой они занимались на воле.

Карл Унгер и я — самые молодые в группе. Если мы продержимся еще несколько недель, то отметим здесь свое 22-летие. Остальным четверым за тридцать. Самый старший среди нас, кажется, Ганс Фройнд.

И вот мы сидим на земле и пользуемся минутами, оставшимися до приказа тушить свечи. Не заметно, чтобы Цело руководил. Что-то говорит один, что-то — другой, но все мы поворачиваемся при этом к Цело. Мы должны что-то сделать, чтобы выбраться отсюда. Мы оказались в совершенно незнакомой стране, в другом мире. У тех, кто прибыл из Варшавы или откуда-то еще из Польши, есть хоть небольшой шанс. Для нас выход один — продержаться и выиграть время. Это значит, мы должны чертовски хорошо держаться, мы должны познакомиться с ээсовцами и охранниками и теми среди заключенных, к чьему мнению прислушиваются. Кроме того, надо хорошо ориентироваться в лагере и тайком собирать деньги и ценные вещи.

— Через две-три недели посмотрим, что можно сделать, — говорят Цело и Роберт.

С того вечера проходит неделя или немного больше. Мы строимся на вечернюю переключку. Черные сапоги из тонкой кожи, начищенные до невыносимого блеска, галифе, короткие куртки повязаны поясами, на шее — шелковые шейные платки, фуражки немного набекрень. Так нас вырядили специалист по готовому платью Ганс Фройнд и модельер Руди Масарек. Молодцеватые ребята в царстве тлена и смерти.

Все в лагере уже знают чешскую группу. Не только нашу шестерку, но и других из тех двадцати, прибывших с эшелонам из Терезина, которых оставили в живых. Только мы сами не знаем, наша ли заслуга, что мы продержались уже почти три недели. Происходят странные изменения: нас расстреливают, меняют местами и заменяют на новеньких не так часто, как раньше.

Нас перевели из барака наверху, на плацу для раздевания, в нижнюю часть лагеря, в огромное сооружение в форме буквы «U», где разместились наши новые спальни и мастерские. Так здесь возникло еще одно «гетто», куда нас вечерами запирают и откуда по утрам выпускают. Три помещения, отделенные друг от друга стенами, два справа от входа в тупик, а одно на противоположной стороне, — считаются отдельными жилыми бараками. Между двумя жилыми помещениями предусмотрено даже небольшое пространство для умывания. Колодец находится за пределами «гетто», перед воротами. Когда нас загоняют в «гетто», то вокруг колодца всегда толкотня, даже драки. Вода для мытья достается в первую очередь успешным драчунам, бойким лгунам и тем, кого мы называем «чистой публикой».

Мы больше не спим на голой земле. По всей ширине барака тянутся сплошные нары, в некоторых местах в два, а кое-где и в три этажа. Мы шестеро спим рядом на верхней полке, там, где двухэтажные нары примыкают к дощатой стене, за которой находится умывальня. Правда, это места для более «чистой публики», но Цело все устроил. Постепенно Цело становится в лагере «кем-то», причем все принимают это как само собой разумеющееся.

Сигнал к подъему — свисток — в шесть утра. Недавно мы с Карлом гадали, откуда у старосты нашего барака свисток с таким резким звуком. Он не похож ни на детскую игрушку, ни на настоящий судейский свисток. И вот уже гремят жестяные кружки. По утрам дают только черное пойло из эрзацкофе, без хлеба, без всего. Без четверти семь — на площадку для перекличек, апель-плац, тянувшийся вдоль нашего барака.

Какой суп будет на обед, зависит от того, что привез последний эшелон. После вечерней переклички мы получаем

у раздаточного окошка кухни снова эрзац-кофе и порцию хлеба. В маленьких мешочках для хлеба, которые нам разрешено иметь, мы приносим еду получше. Эти сумки, которые мы носим через плечо, скрывают не только еду, но и мыло, бритвенные принадлежности, крем для обуви и всякие повседневные мелочи. Никто толком не знает, кто придумал эти сумки.

Нам разрешили взять из сортировки одеяла. В течение дня они должны лежать в изголовье нар, безупречно сложенные, и все должно быть чисто выметено. В одеяло можно спрятать что-либо полезное для «домашнего хозяйства».

Вечер на нарах после переключки. Роберт только что разложил свой складной стул. Этот стульчик, каким пользуются рыбаки, с сиденьем из брезента, он отважился тайком притащить сюда с сортировки, после того как гауптшарфюрер Кюттнер перевел его на работу в только что построенную «амбулаторию». Там, в маленьком отделении жилого барака, где есть примерно 16 мест на нарах, ему теперь надлежит в более спокойной обстановке сортировать медикаменты.

— Эта амбулатория лучше всего показывает, что *они* планируют делать, с нами и вообще, — говорит Роберт. — Каждому настоящему производству нужны рабочие со специализацией. Поэтому *они* нас сейчас холят и лелеют. А вывод из этого такой: нужно ожидать еще больше эшелонов.

Нашего Руди недавно перевели вниз в швейную мастерскую. Щеголю-садисту обершарфюреру Курту Францу бросилась в глаза арийская внешность и спортивная фигура Руди. Одновременно он открыл в Руди отличного мужского портного «из Златой Праги» — для себя и для других эсэсовцев в Треблинке.

В девять часов свечи должны быть потушены и все должно лежать на своих местах. Я разворачиваю одеяло, обувь и одежду складываю в изголовье, чтобы было удобно достать. На мне шелковая пижама. Завтра я ее выкину. За три дня, вернее, за три ночи она покрывается пятнами крови: здесь несметное количество блох. Может быть, завтра я смогу принести сверху новую пижаму. Правда, это запрещено, но в последнее время на такие вещи смотрят сквозь пальцы.

Только нельзя попасться в руки к самым гнусным — Францу, Кюттнеру, Мите. Может быть, моя следующая пижама еще не прибыла в Треблинку, может, она еще в пути. А может, завтра мне уже не понадобится пижама. Впрочем, если я буду делать все правильно и ловко, то мне не надо бояться, как в первые дни, что какой-нибудь эсэсовец просто съест меня с кашей.

Становится ясным, что система стабилизации и специализации себя оправдывает. Сегодня «обработали» примерно 15000. Правда, никто не заметил, что в этой эффективной организации рабского труда появилась первая искра, которая разожжет пожар.

### «ИЛИ́, ИЛИ́ — В ОГОНЬ И ПЛАМЯ ГОНЯТ ОНИ НАС...»

Однажды пасмурным ноябрьским вечером из-за песчаного вала вырывается пламя, оно поднимается к небу и моментально распространяется вширь. Мы замечаем огромную огненную картину, когда маршируем вниз на перекличку. Мы шатаемся с мисками в руках вокруг кухни, освещенные темно-красным заревом с той стороны вала и прожекторами на бараках у нас над головой.

— Они начинают сжигать мертвых... Не хватает места для захоронений... Они хотят замести следы.

Слухи распространяются в лагере со скоростью ветра, раньше, чем мы доходим до жилых бараков. Последним на нары залезает Роберт.

— Не так-то просто сжечь такое количество людей, к тому же на открытом огне. — Немного погода: — Дело в том, что человек не очень хорошо горит, скорее, даже плохо. Нужно класть между трупами что-нибудь, что хорошо горит, да еще чем-нибудь полить. Им надо было вначале провести испытания.

Наплечные сумки брошены на нары, никто их не открывает. Взгляды все время обращаются к окнам, их мало, и они зарешечены. За ними разливается зарево, оно окрашивает ночное небо в темно-красный цвет, наверху переходит в желто-красный и растворяется в бледно-желтом.

Там, где противоположные нары упираются во внешнюю стену, появляется Сальве. Выпрямившись, спиной к маленькому окну, смотрит он в глубину барака. У него чистое и светлое лицо, без единой морщинки, кожа вокруг прямого носа и вокруг рта такая тонкая, дрожащая. Он только-только начал карьеру оперного тенора, когда его отправили в Варшавское гетто. А оттуда в эшелоне — в Треблинку. Кто-то, кто его знал, указал на него эсэсовцам, вот почему они его отобрали, для себя и для нас. Небольшой, но удивительно красивый человек.

На 14-летнего Эдека никому не пришлось указывать. Он вместе со своей гармонью, которая почти целиком закрывала его тело, воспринимался — о чем он и не подозревал — почти как часть лагерного инвентаря. Его родителей, братьев и сестер сразу по прибытии отправили в «трубу». Они не умели играть на музыкальных инструментах. Сейчас он стоит рядом с Сальве, снизу видны только ноги, сверху над гармонью — удлинненное лицо с печальными глазами; в нем нет ничего детского.

— Или, Или... они гонят нас на костер, мучают нас огнем. Но от Твоего Писания не отказался никто.

Сальве жалуется и оплакивает. Мелодия и слова из далекого прошлого, огонь сегодняшнего дня, врывающийся снаружи, — они разрывают сердце. Они разрывают сердце нам, слушающим эту песню впервые, точно так же, как тем, кто слушал ее раньше в часы ужаса: во время погромов и охоты на ведьм.

— Спаси нас, о спаси нас — Ты один можешь нас спасти. — В конце аккорды обрываются, а голос уносится куда-то высоко, выше огня. — Шма, Израэль... Адонай эхад!

Ганс хватается за голову:

— Йезус Мария, они и к этому готовы, у них даже для этого случая есть песня!

Этой песне, наверное, четыре с половиной века. Говорят, она возникла во времена Изабеллы Кастильской, на кострах испанского инквизитора Торквемады, когда евреев и других неверных сжигали под знаком обычного креста, еще не свастики.

Верующие евреи не произносят имени Бога. Они называют Его «Всемогушим», «Единственным»: «Или́, Или́, лама́ савахфани́».

Я не знаю иврита. Но я много читал Библию, и Ветхий, и Новый Завет. Тогда, одинокими вечерами, когда я давал корм скоту. Трех месяцев не прошло. Теперь я слушаю, широко раскрыв глаза, и передо мной встает сцена, когда человек на кресте около девятого часа возопил громким голосом:

— Или́, Или́! лама́ савахфани́? — то есть: Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?

Да, это могло быть так: «завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись...» — там, за спиной Сальве, за решеткой на окне.

Юрек, капо «красных», высовывается с бутылкой водки и кричит:

— Сальве, спевай «Идише мама»! Давай!

Это я уже знаю. В первый раз я слышал, как Сальве пел эту песню под аккомпанемент Эдека, недавно, вечером в швейной мастерской: «Идише мама — лучше не знает свет. Идише мама, ой вей, как плохо, когда ее нет».

Сальве живет в бараке напротив, потому что он из «придворных евреев». К нам сюда его привело сегодня, вероятно, разверзшееся кровавое небо. Только когда он спускается с нар и собирается уходить, в бараке начинаются разговоры.

— У нас не было настоящей причины и настроения для таких песен. Для этого мы слишком хорошо жили, — говорит Роберт.

Через несколько дней после того, как в лагере появился Цело, была создана «сортировочная бригада барака А». Здесь сортируется и перерабатывается только хорошая одежда. Это тот же самый барак, куда меня, а потом и Карла привели после прибытия к спрессованным кучам одежды, от которых поднимался парок. Но сегодня внутри барака все выглядит совсем по-другому. Решетки из грубых досок разделяют помещение на несколько отделов, которые называются «боксами». Над каждым боксом висит табличка с указанием, что именно там сортируется и хранится. Мы с Карлом работаем в отделе готовой одежды, в боксе «Мужские пальто, I сорт».



Каждый рабочий «барака А» носит желтую нарукавную повязку с буквой «А». Цело здесь бригадир. Эсэсовцы заметили, как остальные собираются вокруг него. Он бросался в глаза, но держался при этом скромно.

Вдоль «барака А» в направлении сортировочного плаца пристроили «барак предварительной сортировки». Мы получаем оттуда материал для переработки, точно так же, как и расположенный рядом «барак Б», где сортируют обувь, кожаные и галантерейные изделия, кепки, шляпы и туалетные принадлежности. Со стороны железнодорожной платформы, от которой нас отделяет только тонкая дощатая стена, раздается резкий свисток. Маленький Авраам из соседнего бокса съезжает с кучи узлов, откуда он может через щель в досках подсматривать, что происходит снаружи:

— Не теплушки, это — пассажирские вагоны, значит, с Запада — богатый эшелон.

Едва Авраам успел снова занять свое рабочее место, как появляется наш теперешний «шеф», унтершарфюрер Бредо, а с ним и другие эсэсовцы:

— Все на выход, на перрон!

Это дополнительная работа, которую выполняем мы, люди из «барака А». Когда приходит большой эшелон и бригада «синих» не может достаточно быстро освободить платформу (называемую также перроном или вокзалом) от людей и их багажа, нас бросают туда как резерв на подмогу. Синие и желтые нарукавные повязки действуют на выходящих из поезда людей успокоительно, вызывают доверие. Они свидетельствуют о хорошей организации и порядке в месте прибытия.

Бывало, кто-нибудь из эшелона спрашивал:

— Где мы? Что с нами будет?

А кто-нибудь из нас шептал в ответ:

— Вы идете навстречу смерти... Берегитесь!

Тогда они смотрели на него с недоверием и отчуждением, как на сумасшедшего, если они вообще были в состоянии смотреть, в этой толчее, в заботе о детях, женах, матерях, чемоданах и рюкзаках.

Придя на «перрон», я по пассажирским вагонам и обрывкам чешской речи понимаю, что это — эшелон из гетто Те-

резин. Посреди множества вещей, заполонивших платформу, покачиваясь, бродят несколько отставших стариков.

— Эй, ты, отведи вон ту старуху в лазарет! — Эсэсовец делает мне знак плеткой.

Я беру женщину под руку. Платок сбился у нее с головы, обнажив узел седых волос. Наверное, ей за семьдесят, она не маленькая, но и не крупная.

— Прошу вас, куда вы меня ведете? — В голосе чувствуется беспомощный страх.

— В лазарет... — Ни ей, ни мне не кажется странным, что она спрашивает по-чешски, а я по-чешски отвечаю. Для нее Треблинка — продолжение Терезина.

— А почему, собственно, в лазарет?

— Для обследования. Всех старых людей отправляют туда. А откуда вы?

— Из Бенешова... Пожалуйста, дайте мне немного попить. Я очень хочу пить.

— Потерпите чуть-чуть, пожалуйста, не останавливайтесь.

Позади нас двигается такая же пара, за ней — эсэсовец, следом еще несколько. Ну, вот, пришел и мой черед участвовать в этом. Я должен довести ее туда, там она поймет, посмотрит на меня. Над ямой мне придется сорвать с нее одежду, может быть, поддерживать ее за руку.

Сейчас, думаю я, все решится. Это выпало на твою долю, и тебе остается только сделать то, что ты так часто себе представлял. Не смотри на старуху. Проведи ее как можно ближе к эсэсовцу, дай ему как следует промеж ног, выхвати у него из кобуры пистолет, не бери автомат, из которого он так чисто и беззвучно стреляет. Правда, он слишком внимательно следит за дистанцией. Так близко тебе к нему не подойти, да и постовой наверху, на валу быстрее нажмет на спуск.

Мы приближаемся к зеленой стене «лазарета». Я отпускаю ее руку, хочу освободиться от нее. Но она крепко уцепилась за меня, опирается на мою руку, прижимается к бархату синей артистической блузы, которую я нашел сегодня утром и сразу же надел.

— Что это было? Там кто-то стрелял? — Она спрашивает это без страха, только голос немного взволнован.

— Нет-нет, это наши парни грузят багаж.

Прежде чем мы оказываемся в маленьком проходе, ведущем к «лазарету», я оглядываюсь. Расстояние между парой позади нас и эсэсовцем увеличилось. Для двух людей, идущих рядом, дорога узковата. На втором повороте я делаю ей знак, чтобы она прошла вперед, а сам разворачиваюсь и, словно влекомый посторонней силой, со всех ног несусь назад. В это время внутри раздается очередной выстрел. На входе я проти-скиваюсь мимо следующей пары. Эсэсовец пропускает меня.

Я бегу в барак, но меня сразу же выгоняют обратно на перрон, чтобы унести оставшийся там багаж. В глазах рябит от надписей на чемоданах с эшелонов, прибывших из Терезина. Горы пожитков, обуви, одежды, консервов все еще растут.

Ты струсил, ты сбежал — от старухи и от того, что ты, собственно, собирался сделать. Тогда наслаждайся и впредь Треблинкой: баландой, плетками, «лазаретом»... Что ты ей сказал, когда она просила пить? «Потерпите чуть-чуть, сейчас вас...» Нет, этого я ей не сказал. Но ты это подумал. Признайся, тебе пришло в голову: через минуту вам уже ничего не понадобится. Ты — скотина, а что бы ты делал, если бы тебе пришлось вести свою собственную бабушку? Может быть, и она здесь, только что прошла, уже там, и как раз сейчас...

В барак я возвращаюсь одним из последних. Лицо маленького курчавого Авраама все обсыпано какао из разорвавшегося пакета. Он отряхивается и стирает коричневый порошок, время от времени засовывая немного какао себе в рот. При этом он причитает, печально и мечтательно одновременно:

— Ой вей, какой большой и богатый эшелон... ой вей, что за эшелон!

## ТАИНСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ СМЕРТИ

Первый ряд носками ботинок касается белой линии, которая тянется по посыпанному черным шлаком плацу. Мы выстроились вдоль этой линии, без права на жизнь, с наголо обритыми головами и кепками в руках. Перед нами стоят те, кто получают от жизни тем больше, чем больше жизней они уничтожат.

— Не расходиться! Смирно! — ревет «легавый» и делает шаг вперед. Гауптшарфюрер СС Фритц Кюттнер, которого мы называем «легавым», — начальник производства в Треблинке. Не начальник, а изверг, он появляется почти одновременно в самых разных местах и умудряется сохранять во всем лагере бешеный, лихорадочный темп.

Высокая фуражка так глубоко надвинута, что закрывает весь лоб. Глаза буравят, словно сквозь прицел, ряды построившихся на плацу.

— Старосты, капо — вперед, за мной!

Часть эсэсовцев двигается в том же направлении. «Легавый» оставляет без внимания маленькую группу женщин, стоящую с краю, и медленно идет вдоль рядов.

— Ты, выходи — нет, ты — да, ты, выходи, ты тоже. — Щелкает плетка. Тревога внутри меня немного утихает, потому что теперь я знаю, о чем идет речь. Но я сразу же настраиваюсь на то, что должно произойти. *Они* отбирают людей для лагеря смерти. Им снова надо пополнить команду тех, кто работает непосредственно в мастерской смерти. Насколько я знаю, *они* никогда не выбирают людей для лагеря смерти прямо из эшелонов. Вероятно, они поняли, что первая часть лагеря является необходимой подготовительной ступенью для работы рядом с совершенно обнаженной смертью, что для нее не очень-то годятся те, кого только что вырвали из жизни.

— Ну, капо, кто тут у тебя самые ленивые? Выводи их! — «Легавый» делает вид, что выбор зависит от капо и бригадиров. Они молча подыгрывают ему. Вот капо едва приметно замедлил шаг около одного, вот чуть дольше поглядел на другого, и «легаш» выгоняет обоих плеткой из ряда. Это — ненадежные люди. Разумеется, «легаш» этого не знает. Но зато капо и бригадиры знают это слишком хорошо. Так в этой части Треблинки рабы молча вершат свое строгое правосудие. Это происходит не только при отборе в лагерь смерти. Иногда во время работы на сортировке нужна помощь, но она не поспевает вовремя. И никто не знает, насколько тот или иной «несчастный случай на производстве» был действительно случайностью, или чьей-то личной мезьей, или за ним стояло коллективное решение. Тем време-

нем «лежавый» уже разогрел себя до своего обычного бешеного состояния, обогнал всех и далеко впереди отбирает людей по собственному усмотрению. Остальные эсэсовцы ударами сгоняют их в угол барака — 12, 13, 14... Сейчас, сейчас он подойдет, вот уже он осматривает человека рядом со мной. Я высоко держу голову, для этого я устоял на черную крышу барака. Он прошел мимо: я проскочил, на этот раз. Меня не выбрали, я опять буду сортировать пальто, рубашки, ботинки, буду рыться в кучах продуктов, тайком набивать рот едой, тайком надевать чистое белье...

Те, кого сейчас уводят за вал, спускаются совсем глубоко в царство смерти. Они больше не соприкоснутся ни с чем, только с ней, только ее они будут держать в руках, только ее одну, но в виде тысяч фигур обнаженной плоти. Со всех сторон тысячами и тысячами разверстых глаз и ртов на них будет смотреть смерть. Она будет размахивать вокруг них тысячами рук и ног. Она пропитает их своим удушливо-сладковатым запахом. С голых тел ничего не принесешь с собой вечером в барак. Они будут ложиться спать в той одежде, в какой их увели отсюда. А есть только то, что выдают на кухне в жестяных мисках. Сигарета там будет цениться дороже, чем у нас доллары и бриллианты.

Мастерские с инструментами и рабочими столами, платформа, плац-раздевалка, еще хранящий запахи раздетых тел, — это всё места подготовительной работы. В конце, там, внизу, — «второй лагерь» со строго охраняемой тайной. Уже само название «лагерь смерти» — есть заклинание, произносить которое опасно. Даже в своем кругу мы говорим «второй лагерь» или «там, на той стороне». И все-таки мало-помалу, как вода крошечными каплями просачивается через сколь угодно прочную плотину, к нам в первый лагерь проникали отдельные сведения, и со временем я узнавал все больше.

Газовые камеры были единственными каменными строениями во всем лагере. Собственно, это были два объекта. Вначале *они* построили — на большом расстоянии от входа — небольшое здание с тремя газовыми камерами, каждая величиной примерно 5 на 5 метров. Потом осенью 1942 года было сооружено здание побольше с 10 газовыми камерами. Его

разместили совсем рядом с «трубой», там, где она переходит из первой части лагеря во вторую. Через все новое здание посередине тянется проход. Оттуда входят в газовые камеры, их с каждой стороны по пять. Размер каждой из этих камер примерно 7 на 7 метров. К задней стене, там, где заканчивается проход, примыкает моторное отделение. Из него по системе труб через отверстия в потолке в газовые камеры нагнетают выхлопные газы. Эти трубы замаскированы под душ. Пол, выложенный грубыми плитками, имеет наклон к внешним стенам. В стены встроены герметичные, поднимающиеся вверх двери. После «процесса газификации» их открывают и вытаскивают трупы на узкую платформу. В первое время трупы укладывали на грубо сколоченные носилки и относили к месту захоронения. Теперь их складывают штабелями на большой решетке для сжигания, изготовленной из рельсов.

В начале октября, когда наш эшелон прибыл в Треблинку, *они*, кажется, уже запустили новые газовые камеры. Если наполнить все эти камеры, то можно одновременно убить почти две тысячи человек. Само отравление газом продолжается примерно 20 минут. Много зависит от быстрого заполнения и освобождения газовых камер, а также от того, насколько бесперебойно работают моторы. При задержках «пробка» возникает вне Треблинки, на подъездных путях и коммуникациях.

Если в первой части лагеря готовится следующая партия, то освобождать камеры приходится в самом быстром темпе. Что происходит со всеми ремнями и поясами, которые мы должны собирать и складывать у ворот второго лагеря? Каждый на той стороне имеет такой набор ремней. Один конец ремня он обвязывает вокруг ног или рук трупа и — «Давай, давай, тащи, тащи!». Иначе они вообще не смогли бы с этим справиться, если их всего триста человек.

— Так, марш! — «Легавый» уже на другом конце аппельплаца. Группа отобранных для второго лагеря скрывается за углом барака, а мы маршируем в другом направлении, на работу.

— Запевай! — Приказ запевать охранники в черном переняли у зелено-черных и серо-зеленых эсэсовцев и орут, рас-

тягивая слова: — Пой, да-авай, мать твою, давай, спевай, курва, пой, сукин сын! — Рев переходит с польского на украинский. Капо и бригадиры кричат и бегают взад и вперед вдоль колонн. — Давай-давай, маршировать, раз-два, раз-два, ты что, не умеешь, не понимаешь?

Никто бы не поверил, что этот металлический раскатистый голос принадлежит такому маленькому человечку, что на этом берлинском диалекте говорит не эсэсовец, а один из трех наших, которых эсэсовцы считают немецкими евреями, а мы — еврейскими немцами. Это капо Маннес, с резкими четкими движениями и чистым загоревшим лицом. В последнем ряду его колонны идет, спотыкаясь, мужчина без имени, без возраста откуда-то из еврейского части деревни под Варшавой. Капо Маннес не хочет, чтобы его людей били плетками. Маленький, старающийся изо всех сил капо Маннес с громким голосом хочет, чтобы его колонна маршировала безупречно, чтобы все было в порядке. Капо Маннес подбадривает несчастного, предостерегает, что опасность приближается, повышает свой голос почти до воя, опускает его до угрожающего шепота. И хотя капо Маннес не грозит плеткой, бедняга каждый раз со страхом поднимает руку, уклоняется всем телом и отвечает на все жалобными вопросами:

— Ой, капо Маннес, фор вус (для чего) я должен так маршировать в Треблинке? Фор вус я должен так петь?

Давно уже не такой пугливый, Адриан из польского местечка считает, что маршировать в ногу не годится, это не кошерно.

— Ой, капо Маннес, разве ты аид? Что ты за еврей? Немецкий еврей? Еврейский немец? Ряженный шут — вот ты кто.

## ДЕСЯТЬ ЗА ОДНОГО

В этот раз звук въезжающих вагонов был каким-то необычным. Когда смолк визг тормозов и лязг буферов, раздались свистки. Нас выгоняют из барак, где мы сортируем вещи. Вдоль всей платформы стоят товарные вагоны. «Синие» и мы открываем их. Никакого давления изнутри, двери открываются легко. Вагоны пусты.

Штабсшарфюрер Штади стоит недалеко от ворот с каким-то оружием через плечо. На перрон пригоняют еще людей с сортировки. Некоторых эсэсовцы бьют плетками и ногами, пока те не упадут на землю. Охранники, как прилежные ученики, подражают им. Тут же и их начальник обервахманн Рогоза, юношески красивый, краснощекий хам.

Теперь мы понимаем, почему *они* так неистовствуют! *Они* подготавливают новую акцию, режиссируют новую сцену, которую еще не репетировали и не отточили во всех мелочах. Отовсюду слышны свист плеток и крики, пока мы не выстраиваемся в одну линию, и тогда звучит команда:

— Бегом! Нагружать вагоны!

Длиннющая цепочка людей движется от пирамид с вещами на плацу к вагонам и обратно. Еще прежде, чем я с первым тюком прибегаю на платформу, первый вагон уже полон, второй — почти, потом третий, четвертый... Большинство бригадиров размахивают плетками и сопровождают свое «дирижирование» криками.

Все вагоны нагружены. Эсэсовцы переходят от одного вагона к другому, проверяют и приказывают закрыть раздвижные двери. Поезд выезжает, а через короткое время локомотив вталкивает новые пустые вагоны.

— Итак, это — обратный эшелон, — говорит Ганс Фройнд, который возвышается надо всеми и смотрит поверх всех. — Всё, что еще осталось, — годится для фронта и для рейха.

В те дни, в конце ноября — начале декабря эшелоны стали реже, но работа в лагере была по-прежнему интенсивной. Вагоны с людьми, прибывающими в Треблинку, чередовались с вагонами с вещами, которые уходили из Треблинки. За небольшими исключениями, вагоны, в которых привозили людей, для отправки отсортированных вещей не использовали. Крытые вагоны для скота с людьми приходили большей частью из Польши, пустые товарные вагоны для вещей — из Германии. Горы увязанных в тюки вещей на сортировке исчезали, и вырастали новые, как в мультфильме.

Если бы я был эсэсовцем, то знал бы, что и этот «сброд» может объединяться, если он два-три дня бегаёт цепью друг за другом и все время нагружает вагоны. Тут уж слишком хо-



рошо знаешь, кто бежит перед тобой, кто — после тебя, кто забирает у тебя тюк, кто укладывает его в вагон.

Я бы заметил, что произошло недавно. В дверях вагона столкнулись не то три, не то четыре человека с тюками и упали. Два бригадира тут же кинулись на них с плетками. Староста лагеря, Галевский, тоже с криком бросился туда. Потом кто-то из бригадиров отгонял ударами людей от вагонов, а унтершарфюреру Гентцу оставалось только обернуться и смотреть, «как эти польские мерзавцы избивают друг друга». А тем временем двое уже были спрятаны в вагоне между тюками и прикрыты сверху вещами. Вагон готов к отправке.

— Закрывать, господин начальник?

Если бы я был эсэсовцем, я бы услышал в этом глупом вопросе больше. Полностью нагруженный состав выезжает, а с ним еще двое, которые «должны сообщить миру».

Все это сопровождалось прекрасно организованной суматохой. А главными актерами — кроме двух беглецов — были те, что толпились перед кухонной раздачей и норовили стянуть что-нибудь прямо у тебя под носом.

Если бы я был здесь эсэсовцем... Меня все время преследуют эти слова и мысли.

Вскоре после этого происходят два события, которые заглушают чувство удовлетворения и могут сломить волю к побегу из Треблинки. Въедливый обершарфюрер Бёлитц, он всегда строже и основательнее остальных, обнаружил незадолго до отправки нагруженных вагонов двух человек с сортировки, спрятавшихся под вагоном. Сразу же появляется «Лялька», потому что это — его забота. Он не идет, он вышагивает. Он знает (и это знание чувствуется в каждом его шаге), что все в нем безупречно, отглажено, начищено: черные сапоги, серые галифе с нашитыми желтыми кусками кожи, зеленый китель, серые перчатки из оленьей кожи, сдвинутая набок фуражка с «мертвой головой». Обершарфюрер СС Курт Франц совершенно уверен, что из всех здесь он — самый высокий и самый красивый парень. Чего он не знает, так это того, что за свою фигуру, красные щеки и сияющие карие глаза он получил от узников Треблинки польское прозвище «Лялька» — «кукла».

Остальные эсэсовцы стоят вокруг, словно в ожидании представления, представления с людьми, похожими на голые пугала. Тем двоим приказывают раздеться уже на перроне. Сбегаются охранники, по приказу и в ожидании нового «развлечения». За веревку, накинутую на шею, их, голых, волокут к кухне, избивая плетками. Там их вешают за ноги, головами вниз, на балке, укрепленной между двумя соснами.

— Как следует посмотрите на этих двоих! — Рука в серой перчатке из оленьей кожи показывает за угол барака в направлении кухни. — И сделайте из этого выводы на случай, если кому-то придет в голову что-нибудь подобное. Разметались, скоты! Разойтись!

Толпа около кухни растет — ведь в последнее время эшелоны приходят реже, и горы еды исчезли. Через пар, поднимающийся на пронизывающем холоде от мисок, сквозь слабый запах из кухни навязчиво лезет в глаза картина, как будто перевернутая с ног на голову кривым зеркалом. Синеватые тела, закинутае назад головы, выступающие кадыки, глаза, словно вылезшие на лоб, широкая полоса крови между носом и ртом, тонкая — от уголков рта к вискам.

— Шма, Исраэль — слушай, Израиль. — Вначале слышен хрип, затем возникают слова молитвы и одновременно призыв к борьбе. Потом по телу проходит судорога, как будто он хочет опереться на связанные за спиной руки, и кровоточащий рот выталкивает слова: — Чего вы еще ждете? Отбросьте жратву и подумайте о мести!

Та же сцена повторяется, когда из загруженного вагона выволакивают еще двоих. Не совсем ясно, то ли они собирались спрятаться, то ли просто запутались в тюках, когда укладывали их в вагоне в штабель. На этот раз *они* позвали плотников, и вскоре из земли на «вокзале» возвышались два столба, между ними — переключина, а на ней висели беглецы, нам в предостережение. Когда мы после обеда маршируем мимо, они уже не издают ни звука, а мне в голову приходит только одна совершенно идиотская мысль: «Значит, вот как выглядит голый человек, поставленный на голову».

Через некоторое время *они* их срезают — в «лазарет», а виселицу приказывают разобрать.

Несколькими днями позднее Цело ведет наше вечернее заседание на нарах тише, чем обычно, но тем настойчивее звучат его слова:

— Итак, пора что-то предпринять. Скоро наступит зима, холода, снег, и тогда...

— Ну да, тогда у нас отмерзнут ноги, если они повесят нас голыми, — роняет Ганс Фройнд.

— Я разговаривал сегодня с одним, его зовут Коленбреннер. Он говорит, у него есть план, как нам шестерым вместе с ним выбраться отсюда. Ночью, это не так опасно. Барак не запирают. Я, как бригадир, могу подозвать украинца, который будет дежурить, к двери. Можно договориться с ним о сделке. Если мы условимся с тем, кто будет дежурить вечером, что ночью положим у двери кошелек с деньгами, а он принесет бутылку водки... это ведь уже практикуется некоторое время. Вы будете стоять за дверью, и, когда он подойдет поближе, мы с ним управимся совсем бесшумно. Один из нас наденет его форму, возьмет его карабин и подзовет к воротам гетто дежурного эсэсовца. Его нам тоже придется убить, а форма, фуражка и автомат помогут пройти через пост у ворот и выбраться к железнодорожным путям. Это — кратчайший путь. Если мы сбежим вместе с этим парнем, Коленбреннером, он обещает за это провести нас в Варшаву и достать для всех фальшивые документы.

— Это значит, что мы должны взять с собой увесистый пакет с деньгами и золотом, — добавляет Роберт.

— А почему этот парень выбрал именно нас? — снова вмешивается Ганс. — У него ведь есть здесь другие знакомые, нас он знает слишком мало.

— А мы — его, — присоединяется Роберт. — Только, вероятно, для нас это единственная возможность.

— Он не хочет пробовать ни с кем из тех, кого знает, потому что знает слишком многих, — объясняет Цело.

— И потому что знает их слишком хорошо, — добавляет Ганс.

— С фальшивыми документами мы могли бы присоединиться к подполью в Польше, к партизанам, или добровольно записаться на работу в Германию.

— И почему же он оказался в Треблинке, если давно уже мог достать все это себе в Варшаве?

— Потому что он тоже этому не верил. Что-то такое ему доводилось слышать, но был не в состоянии поверить. Нам он доверяет.

— Доверяет... Доверяет, потому что арийские физиономии нашего Руди и Карла облегчат ему побег. — Ганс по-мазком показывает перед собой. — Еще он рассчитывает, что в случае чего мы окажемся находчивее и не наложим сразу в штаны, как его вшивые дружки. Руди был в армии лейтенантом, Цело тоже, а он, дерьмовый умник из Варшавы, будет давать нам советы и пользоваться нами как личной охраной.

— Но, человеку, на Треблинку то не е така зла понука — для Треблинки, приятель, это не такое уж плохое предложение. — Цело путает словацкие, чешские и польские слова.

— А что ему помешает бросить нас где-нибудь одних, когда мы выберемся из лагеря? Где-нибудь в Польше? — продолжает сомневаться Ганс.

— Хоть бы меня кто-нибудь бросил где-нибудь в Польше, — мечтательно произносит Карл.

Все начинают говорить одновременно:

— Если нас поймают уже здесь, то дальше — голышом вверх ногами, это длится не очень долго, может быть, двадцать минут, потом теряешь сознание.

— Двадцать минут для тебя не долго?

— Этого мы вообще не должны допустить, мы должны сразу же броситься на них и убить.

— А если снаружи нас поймает немецкая полевая жандармерия, или как там она называется? Ты слышал, что они делают здесь в Польше, если у человека нет документов? Они раздевают тебя, и вот тебе паспорт: обрезанная крайняя плоть. Они еще поиграются с тобой немного, пока ты не окоченеешь.

— Для эсэсовской формы у Руди самая подходящая фигура, но снаружи будет лучше сразу снять мундир.

— Самое позднее через неделю мы должны попытаться, — Цело снова говорит спокойно. — Руди и я еще попро-

буем выяснить, бывает ли вообще смена у ночного караула и как это происходит. Вы завтра же пронесете сюда из бокса все собранные деньги. У каждого в кармане должны быть какие-нибудь консервы, нож, веревка или ремень.

Прошло два дня. В эту ночь охране не пришлось будить нас утром. Задолго до свистка все на ногах. В бараке слышны взволнованные, приглушенные голоса. Семеро из бригады «синих» попробовали сбежать, примерно так же, как планировали и мы. Но охранник у ворот гетто оказался быстрее, он успел вызвать дежурного эсэсовца, а с ним и подкрепление. Номера семерых записали, потом их загнали обратно в барак, а у барака поставили часовых. Все это произошло в тишине между двумя и тремя часами ночи. Вот тогда в первый раз и сработали матерчатые треугольники с номерами, которые мы получили при переселении в «гетто». Эти треугольники мы должны носить на верхней одежде на левой стороне груди, так чтобы их было хорошо видно.

— Они дали загнать себя обратно. — Роберт растягивает слова еще больше, чем всегда. — И это при том, что в «синие» берут только лихих ребят.

На перекличке в этот раз присутствует необычно много эсэсовцев. Кажется, около двадцати. «Лялька» Франц выходит вперед и начинает представление:

— Сегодня в последний раз будут приняты мягкие меры. — У него пренебрежительное выражение лица. — Семеро из вас, которые хотели сбежать, будут расстреляны. — Вдруг он переходит на крик: — С сегодняшнего дня я устанавливаю новый порядок: каждый капо и каждый бригадир отвечает за своих людей собственной шкурой. За каждого, кто сбежит или попытается сбежать, будут расстреляны десять человек — десять за одного! И все капо и бригадиры теперь будут присутствовать при казни в «лазарете»! Разойтись!

Мы маршируем с апель-плаца, а наверху расходимся по рабочим баракам.

— Но их не пытали, — замечает кто-то и в тишине, наступившей после семи одиночных выстрелов, добавляет: — Десять за одного.

## ПАЛАЧИ И МОГИЛЬЩИКИ

Всех, кто передвигается в Треблинке на двух ногах, можно назвать «господами и рабами». Но такие названия хороши только для газетных заголовков. На самом деле в Треблинке все не так просто. Есть господа покрупнее и помельче. Полугоспода, начальники палачей, заплочных дел мастера и их помощники, более или менее живые рабы. Могильщики, рангом повыше и пониже.

Все подслушивают и подсматривают за остальными и друг за другом. Когда собирается вместе несколько человек, их поведение разительно отличается от того, как каждый ведет себя в отдельности, если его не видит никто, стоящий выше. Все мысли вертятся только вокруг «наследства», вещей и ценностей, которые останутся после сотен тысяч людей. Мародерствуют и спекулируют все. Господа эсэсовцы и охранники нацелены в первую очередь на золото, украшения, деньги, шубы; это пригодится в любом случае, кончится ли война для них хорошо или плохо. Рабы хватают еду, а также ценности — на один-единственный случай.

Все с напряжением и любопытством ждут, что принесет следующий эшелон в Треблинку. Даже самые последние рабы в «лагере смерти» могут оценить «качество» эшелона по количеству выломанных золотых зубов и по результатам обследования, которое там выборочно проводится, чтобы проверить, нет ли у голых мертвецов золота и украшений в других отверстиях тела, кроме ротового.

Все поют и заглушают друг друга: немцы — «Родина... твои звезды», украинцы — «Ой, при лужку, при широком поли...», евреи — «Идише мама» и «Или́, Или́...».

Он прогуливался и иногда останавливался наверху на песчаном валу. Это было через несколько дней после того, как начали сжигать трупы. Оттуда он осматривал свои владения. Он смотрел вниз на ту сторону, откуда поднимался дым, создававший для него величественный фон. Потом он снова смотрел на эту сторону, где внизу горы вещей и цепочки крошечных фигурок все время меняли свои формы и приобретали, как в калейдоскопе, все новые и новые очертания. У него не было тяжелого хлыста, как у всех остальных эсэсовцев, а только легкий стек для верховой езды и всегда светлые

перчатки, а на голове — пилотка, пальцы правой руки заложены за борт облегающего зеленого мундира. Это — комендант лагеря, гауптштурмфюрер СС Франц Пауль Штангль. И подобно тому, как сейчас он в полном одиночестве смотрел вниз с вала, так же, сохраняя дистанцию от всех окружающих, он надзирал сверху и за всем, что происходит в лагере. Он редко приходит из барака коменданта на «предприятие», избегая при этом всяческих контактов с рабочими евреями, а равно и с украинскими охранниками. Если он изредка появляется на переключке, то только для того, чтобы посмотреть со стороны, стоя у угла барака. Слегка постукивая стеклом по сапогу, он уходит еще до конца переключки. Немного загнутый нос, выступающий подбородок, небрежная походка и движения, которые позволяют себе только высокие чины, — он производит впечатление сеньора, распределяющего власть между своими вассалами. Роберт говорит, что этот величественный господин знает больше остальных и что у него на совести наверняка больше, чем у всех. Он занимает положение, при котором ему самому не надо ни стрелять, ни избивать плеткой.

Почти у всех есть прозвища. Они возникают по любому поводу, потому что нам нужны слова и предупреждения, которые понимаем только мы — и никто больше. Среди них есть три особенных имени, являющиеся для нас сигналами смертельной опасности и одновременно символизирующие три основные опоры Треблинки и ее производства. Их настоящие имена мы знаем только понаслышке, мы даже не знаем, как они правильно пишутся: Франц, Кюттнер, Мите.

В первый раз я увидел Франца в действии на второй или на третий день после прибытия в Треблинку. Я вышел из барака на сортировочный плац и увидел, как в нескольких метрах от меня он обстоятельно уложил одного из рабов в нужное положение, а потом начал отвешивать ему 25 ударов по заду. При каждом ударе он полностью выпрямлялся, откидываясь назад и замахивался, как это делают теннисисты. Но это было лишь маленькое представление. Только когда он устраивает настоящие большие спектакли на плацу для всех и со всеми, его гладкие щеки становятся по-настоящему красными. В этом предприятии Франц-Лялька что-то

вроде младшего начальника, которого, возможно, специально назначили в дополнение к Штанглю, а уже в дополнение к Францу назначили опытного «фельдфебеля» Кюттнера. Лялька нужен для репрезентативности, для чрезвычайных и крупных событий. Забота Легавого-Кюттнера — повседневное течение производства. Его глаза заглядывают одновременно во все уголки, он проносится мимо мастерских, избивает кого-то до крови, потому что тот слишком медленно движется, а через мгновение его плетка уже со свистом опускается на людей в «бараке А». Больше всего ему нравится направлять удар в лицо, чтобы получился громкий чавкающий звук. Все его движения — и слова тоже — резкие, судорожные, что отличает его от подчеркнуто спортивного поведения Ляльки. По профессии Франц повар, по виду и повадке — импозантный шеф-повар. Кюттнер принес в Треблинку весь багаж своей предыдущей жизни: говорят, он был полицейским или тюремщиком.

Унтершарфюрер Август Вилли Мите появляется беззвучно, как привидение, там, где кто-то из пронумерованных, проштампованных больше не может, не в состоянии изображать, что он здоров и полон сил. Его нос, да и все лицо немного скошены набок. Длинные ноги несут короткое туловище немного вразвалочку. Фуражка — или пилотка — сдвинута на затылок, из-под нее видны гладкие белокурые волосы. И рыбы глаза — как будто они тебя утешают: «Ну, идем, идем, скоро ты уже отдохнешь. Но только иди передо мной покорно, как ягненок. Иначе я начну кричать фальцетом и покажу тебе, что я знаю свое дело даже лучше, чем элегантный Франц или «фельдфебель» Кюттнер. Для него недостаточно одного прозвища. Этот тихий убийца и уборщик «отходов» Треблинки имеет несколько: по-чешски «кроткий стрелок», на идиш «дер крумме коп» (кривая голова) и самое выразительное — на языке Библии: «Мал'ах-амавет» — «ангел смерти», потому что его царство — «лазарет».

Всегда какой-то неряшливый и всклооченный, Вилли Ментц, с черными усиками под носом, как в гражданской жизни, так и здесь стоит намного ниже Мите. Дома он разводил коров, а здесь он — стрелок номер 2. Его дело — повседневный, рутинный расстрел в «лазарете», когда поступа-



ет новый эшелон. Он стреляет и стреляет, еще и еще, даже если иногда предыдущий падает в огонь только раненым, а не убитым. Грязная работа.

Мы выяснили, что примерно раз в шесть-восемь недель какая-то группа получает отпуск. Первый, кто замечает, когда они начинают собираться, — Руди в своей швейной мастерской. Потом это замечаем и мы, по бараку готовой одежды.

Унтершарфюрер Пауль Бредо, начальник «барака А», приходит к нам в бокс «мужские пальто, I сорт». Он двигается скользящей походкой, как по паркету, словно на нем все еще надет фрак официанта, который он носил до войны. И он приводит с собой редкого гостя, шарфюрера Пётцингера из соседнего второго лагеря.

— Показывайте, уже что-нибудь нашли? — начинает Бредо.

Вот так он уже неделю приходит в наш бокс. Он хочет «роскошное» и «безупречное» пальто. Каждое он тщательно проверяет, не обтрепано ли оно на воротнике, на карманах, внимательно рассматривает подкладку. Он хотел бы что-нибудь клетчатое, можно с поясом. Безо всякого смущения он передает свою плетку Пётцингеру, который пока что наблюдает за происходящим. Во время примерки Бредо всегда поднимает воротник так, что он достает до длинных бакенбардов. Они, да еще усы, вероятно, компенсируют ему отсутствие волос над мясистым, бледным лицом.

Пётцингер немного медлит, прежде чем начинает примерку, потому что понимает, что для его большой коренастой фигуры будет трудно подобрать что-нибудь подходящее. Когда он подходит совсем близко и наклоняет голову с выбивающимися из-под пилотки курчавыми волосами, чувствуется исходящий от него удушливый сладковатый запах второго лагеря. У него грязные сапоги и немного помятая форма. На той стороне, откуда он пришел, все время идут земляные работы. Даже эсэсовцы, служащие там, не могут так следить за своей элегантностью, как их коллеги здесь.

В конце концов оба останавливаются на одном и том же пальто. Каждый начинает убеждать второго, что тому пальто не годится, одному оно мало, второму велико. Унтершарфю-

пер Бредо, как начальник барака готовой одежды, мягко одерживает победу над шарфюрером Пётцингером. Сцену прерывает появление высокой фуражки Кюттнера-Легавого. Бредо приказывает мне отнести после обеда пальто в швейную мастерскую, где его должны будут отутюжить, а он потом сам его заберет. Оба уходят и беззаботно шагают навстречу Кюттнеру.

Ни Маттес, начальник производства второго лагеря, ни Кюттнер не могли бы позволить себе ничего подобного, чтобы не испортить свою репутацию.

— Сними все еврейские звезды, чтобы нельзя было и догадаться, что они там были. — Давид Брат из бокса напротив стоит за столом с табличкой «Мужские пальто, II сорт» и как раз обучает новенького. Голова Давида едва достает ему до груди, Давида вообще почти не видно рядом с ним. Новенький — толстяк с маленькими глазками и жесткими усами, его зовут Виллингер. Бригадиры на сортировке направили его сюда, после того как сыграли небольшой спектакль для своих «шефов» из СС. Это — начало большой игры, которая сейчас готовится. — Вынуть все из карманов, все осмотреть, прощупать, не зашиты ли в пальто деньги, золото, драгоценности. Видишь ящики, которые висят у каждого бокса? Туда потом бросишь все ценное.

Давид на секунду останавливается, потом продолжает особенно выразительно, на идиш это звучит «аз озер» (думай!), и, чтобы быть наверняка понятным, делает жест, означающий «оставить с носом».

— Ну, — Давид снова замолкает и меняет тон. — Что-то туда бросить надо. Вон те не могут вернуться совсем без всего.

Движением головы он указывает на двоих, которые как раз в это время медленно идут по бараку. У них желтые нарукавные повязки с надписями «Золотые евреи», а в руках — маленькие чемоданчики. Несколько раз в день эти сортировщики золота и украшений делают обход всего лагеря, проходят через рабочие бараки, опустошают все ящики в каждом боксе, собирают найденные ценные вещи и возвращаются вниз на свое рабочее место, в «большую кассу», где они все это сортируют и упаковывают. И хотя сейчас чемоданчики золотых дел мастеров наполняются далеко не так,

как раньше, когда один эшелон следовал за другим, все равно в соответствии с приказом и распоряжением бригада «золотых евреев» регулярно совершает свои обходы. Так возникает и развивается «служба новостей»: между двумя лагерями поддерживается связь с «гетто» и мастерскими даже в рабочее время.

— Вот так надо складывать каждое пальто, потом перевязать по десять штук и сложить вот здесь в боксе. — Давид заканчивает свою лекцию. Потом я слышу еще слова «выборочная проверка». Это Давид предупреждает новичка, что здесь, в «бараке А», эсэсовцы проводят выборочные проверки особенно часто и основательно, и если все рассортировано и упаковано не безупречно, то это грозит «лазаретом».

Из глубины барака к нам доносятся предупредительные сигналы. Это идет унтершарфюрер Хиртрайтер. Между собой мы называем его «Зепп», так его зовут остальные эсэсовцы. Особая грубость отличает его темное лицо с выступающими скулами и толстыми губами, она прослеживается и в каждом его движении, в каждом слове. Он небрежно осматривает несколько пальто, скручивает одно, засовывает его себе под мышку и удаляется длинными ленивыми шагами, бездумно, по привычке продолжая бормотать:

— Работать, работать...

— С бабами этот тип — настоящий скот, — говорит Ганс Фройнд.

Следующий клиент — унтершарфюрер Карл Шиффнер, его лицо словно слегка припудрено. Когда он говорит, виден ряд золотых зубов:

— Ну-ка, дайте посмотреть, не найду ли я чего-нибудь приличного, — он бросает пачку сигарет на сортировочный стол. Еще три недели назад она не имела бы никакой ценности. Но теперь, когда эшелонов нет, сигареты снова в цене. Легким движением Шиффнер поправляет пилотку у себя на голове. Ногти на его руках ухожены, волосы гладко зачесаны, посередине — пробор. Он уходит, сложив и перебросив через руку пальто. Вроде бы он наш земляк из Тёплиц-Шёнау, немецкоязычной области в бывшей Чехословакии.

Дородный бюргер, совершенно гражданский человек в форме и, вероятно, самый старый среди здешних эсэсовцев:

унтершарфюрер Карл Зайдель. Он всегда разговаривает с нами в безличной форме: «Это унести, это — сюда, это — туда...» Но на этот раз он негромко обращается прямо ко мне:

— Если вы найдете приличное зимнее пальто...

Он сказал «вы», но «будьте любезны» он не сказал — или все-таки сказал? Господи, ну что же я не дал хотя бы этому промеж ног, почему я не накинул ему на шею пояс от пальто и не тянул, пока у него не выкатятся глаза, как у тех двоих, которых *они* голыми повесили за ноги перед кухней? И чего бы ты этим добился, кому бы ты этим помог? Остальные смотрели бы, и никто не двинулся бы с места. Тебе потом пришлось бы самому себя прикончить, чтобы тебя не схватили... Да, да, фантазируй и отводи душу, а сам ройся в куче и ищи. «Лучше всего темно-синее или темно-серое...» для начинающего сесть господина Зайделя с твердыми чертами лица и учтивыми манерами. В проходе между боксами в глубине барака появляются унтершарфюрер Гентц и шарфюрер Бёлитц.

— О, а вот эти клиенты наверняка ко мне, — раздаётся голос Ганса Фройнда из соседнего бокса с надписью «Женские пальто, I сорт».

На нем белое длинное по шиколотку пальто, из-под которого видны до блеска начищенные сапоги; в нем он кажется еще выше. Вокруг талии он повязал широкий пояс, на голову надел русскую меховую шапку. У шерстяных перчаток он отрезал кончики пальцев, чтобы было удобнее «сортировать». Для работы в боксе Ганс надевает еще белый халат. Говорит, что блохи гораздо меньше ползают по белому.

— Смотри-ка, сейчас они в «Бюстгальтерах и дамском трико». — Ганс не глядя прощупывает пальто, которое лежит у него на столе. Глазами, словами, да просто всем телом он следит за двумя фигурами в форме. И хотя он не может со своего места видеть таблички над отдельными боксами, но он демонстрирует нам и себе, как хорошо он уже здесь ориентируется. — Да-да, господа, лучше всего мы начнем снизу, от «бюстгальтеров и дамского трико», дамские чулки у нас только в упаковках по пятьдесят пар, корсажи по двадцать пять штук, как тут и написано, мужские сорочки — по двадцать пять, мужские брюки — тоже, детское белье не интересно? Нет, эти идут главным образом ко мне. Гентц уже не-

сколько дней пристаёт, ему нужна каракулевая шуба. Что-то придется ему все-таки дать. Они должны меня запомнить. Каракулевые, бобровые, ондатровые шубы, все для госпожи супруги унтершарфюрера и для шлюх тоже. Разве кто-нибудь в Великой Германии может сегодня конкурировать с фирмой «Ганс Фройнд, дамские пальто, Треблинка»?

Наверняка Бёлитц один не пришел бы. Вероятно, его уговорил Гентц. Если представить себе Гентца без эсэсовской формы, то, наверное, он мог бы быть вполне приятным смешливым парнишкой. Я представляю себе, как он швырнул сумку с какими-то школьными принадлежностями в угол, как он нахлобучил пилотку на светло-рыжие прямые волосы, застегнул мундир, ухмыльнулся своему мальчишескому, покрытому веснушками лицу в зеркале и при этом подумал: «Это будет забавно». А когда он приехал в Треблинку и с любопытством рассматривал все вокруг, он говорил себе и, наверное, говорит до сих пор: «Смотри-ка, как забавно».

Бёлитц совсем другой, из более солидного материала. Стройный и подтянутый холостяк; не только коротко подстриженные волосы, выбритый затылок, но и брови и ресницы на овальном розовом лице словно освещены солнцем — совсем белые. Он не кричит и не взвинчивает себя, как Кюттнер и Франц, а наносит такие же ужасные удары плеткой очень тщательно и со служебным рвением. Может быть, его «камерады» говорят, что он выслуживается и вообще карьерист. Обычно он только наблюдает, как его товарищи в отсутствие Кюттнера и Франца выбирают себе красивые и ценные вещи. Запретить он им этого не может. Ведь он — один из них. Донести на них он тоже не решается.

Этот эсэовец в Треблинке одинок. Сейчас он стоит рядом с боксом «Дамские пальто, I сорт» и наблюдает со смешанным чувством неловкости, презрения и любопытства, как Гентц рассматривает разные шубы, которые выкладывает перед ним Ганс. А Гентц, так мне кажется, решил сыграть с Бёлитцем маленькую шутку:

— Да подойди же ближе, — кричит он ему и протягивает каракулевую шубу. При этом плетка в его руке выглядит как та штука, которой выбивают шубы. — Ну, что ты об этом скажешь?

— Ничего, обычное дерьмо. — В данный момент Бёлитц не в состоянии выразиться иначе.

— Совсе не дерьмо, это шуба из настоящей каракульчи. Правда, Ганс? — Гентц уже знает Ганса по имени.

— Так точно, господин унтершарфир-рер, настоящая каракульча, — Ганс специально коверкает свой пражский немецкий язык. Немного рыжеватый и веснушчатый, он выглядит как озорной мальчишка.

— И сколько может стоить это дерьмо? — спрашивает Бёлитц.

— Ойе! — Ганс делает любезный жест и начинает перечислять: работа скорняка, мех, каракулевые овцы, меховые аукционы, — барак с боксами превращается в огромный магазин, полный текстильных и меховых товаров, а специалист своего дела Ганс Фройнд объясняет, предлагает, продает...

— Скажи, чтоб тебе тоже подобрали, — поддразнивает Гентц Бёлитца.

Ганс сразу же улавливает, в чем дело, присоединяется к игре Гентца и услужливо произносит:

— Да-да, господин шарфир-рер!

Обершарфюрер Линденмюллер, немного старше, но намного взрослее, чем Бёлитц, и лишь внешне кажущийся человеком того же типа, приходит перед Рождеством в «барак А» совсем с другой целью, не за «покупками». Он остается вдвоем с Цело в бюро, прямо у входа, и начинает, словно докладывая о самом себе:

— Я происхожу из офицерской семьи, я — убежденный национал-социалист, но то, что творится здесь, я не могу примирить со своим представлением о солдатской чести, завтра убываю в рождественский отпуск и сюда больше не вернусь. Подаю рапорт о переводе на фронт, хочу, чтобы кто-нибудь из вас об этом знал, выбрал тебя...

«Охранники», они — погонщики рабов и помощники палачей, их презирают и господа, и рабы. Все они молоды, около двадцати, от всех так и пышет здоровьем и грубостью. Им и не снилось, когда они завербовались и покинули свои деревни и хутора, что они будут купаться в жратве, водке и деньгах, что зрелые женщины и молоденькие девчонки будут переезжать вслед за ними в окрестные деревни поближе к

лагерю — только что не с задранными подолами. Им казалось, что здесь они смогут продолжать бить и забивать до смерти евреев, как они привыкли еще дома. Но оказывается, только здесь все и началось. Для этого нужно было, чтобы пришли «германцы». Только у Рогозы, старшего охранника, есть фамилия. Все остальные — просто Сашки, Гришки, Ивановы. Эсэсовцы зовут их «эй, охранник», мы — «пане, господин охранник». Разговариваем мы с ними на смеси славянских языков. Со своей далекой и почти бескрайней родины они принесли удивительный дар: поразительное пение. В тяжелые часы вечерних сумерек и на рассвете поднимается высоко над густыми соснами тоскливая песня, которая многоголосым хоралом окутывает всю Треблинку.

В то время как постепенно становится все меньше еды, потом одежды и драгоценностей, когда сказочное «наследство» рассеивается в Треблинке и пропадает в разных ее уголках, а новых эшелонов с пополнением не прибывает, веселые жадные парни в черных и коричневых формах шагают мимо нас и повторяют:

— Давай гроши, будет хлеб, ветчина, водка. — Они следят, чтобы их не заметили самые опасные — Франц, Кюттнер и те, кто не так опасен, — Мите, Бёлиц.

Могильщики — самые несчастные из заключенных — «там», по ту сторону вала. Но не все непосредственно собственными руками соприкасаются с обнаженной смертью. Староста «второго лагеря», его зовут Зингер, и он из Вены, капо и бригадиры — все они работают плетками, люди в бараках — метлами; тем, кто двигается взад и вперед с грубо сколоченными деревянными носилками, не приходится самим трогать мертвые голые тела, как тем, кто нагружает и разгружает носилки. Тот, кто где-то внизу, в блиндаже очищает золото, видит не весь труп, а только зубы с кусочками десны, и только к этим кусочкам прикасаются его пальцы. На долю нескольких женщин, их мало, выпала та же участь, что и женщинам здесь, в первом лагере: стирка белья.

И здесь, в этой части лагеря, есть три по-настоящему несчастных могильщика. Это — те трое санитаров с нарукавными повязками Красного Креста, которые должны в «ла-

зарете» сжигать на костре расстрелянных в яме. Потом уже следуют безымянные «разгребатели оставленного мусора» здесь на сортировочном плацу, которые только иногда вытаскивают мертвых, полумертвых и тех, кто не может двигаться, из прибывающих вагонов.

Значительно более высокую ступень занимают «специалисты» из отдела верхней одежды «барака А» и из отдела «Галантерейные товары» «барака Б». Большую часть времени они заняты своей работой, и у них есть крыша над головой. В бараках, освещенных только продолговатыми окнами в потолке и одним окном в торцевой стене, они не так часто попадают в поле зрения и обстрела. У них есть возможность экономить физические силы.

«Синие» на платформе и «красные» на плацу-раздевалке работают еще с живыми. Постепенно сформировались бригады отпетых парней. Только те, кто принимает слишком близко к сердцу различные сцены, случающиеся при раздевании, особенно с женщинами, не выдерживают. У остальных рабов, как, впрочем, и у господ, «синие» вызывают (хотя и по-разному) определенную признательность: у эсэсовцев потому, что все проходит гладко, а у нас потому, что если никто из них не сломается, то никого из нас не отправят к ним.

Однажды — говорят, это было незадолго до того, как мы приехали в Треблинку, — один из узников кинулся с ножом на эсэсовца. В честь заколотого эсэсовца жилой барак украинских охранников назвали «казармой имени Макса Биала». По рассказам, он был еще хуже, чем Легавый Кюттнер и Франц-Лялька. Того, кто его заколол, звали Берлинер или как-то похоже. Может быть, он нашел в себе мужество и силы потому, что недавно вернулся на родину, в Польшу, из-за границы, где прожил много лет. Ему досталась еще легкая смерть: его прикончили на месте.

С тех пор как эшелоны стали прибывать реже, «синие» и «красные» превратились в многоцелевые бригады. Они вместе подготавливают «вокзальную площадь», их тоже выгоняют работать на сортировочном плацу и, разумеется, грузить в вагоны отсортированные вещи. Мне кажется, эсэсовцы держат их на более длинном поводке, когда они занимаются работой не по своей основной «специальности».



Звание «придворный еврей»\* имеет сейчас не то значение, что раньше. Когда лагерь только возник, в период наибольшего произвола, рабов уничтожали ежедневно, ежедневно, а их место занимали новые. Сам Мите ежедневно убивал до восьми человек. Понадобилось ввести какие-то щадящие меры в отношении ремесленников и специалистов, отобранных для плотницких, столярных, слесарных и строительных работ, для сортировки денег, золота и украшений. К этой группе были причислены также все мальчики и женщины, назначенные на чистку и стирку. Их всех надо было как-то обозначить, чтобы их случайно не убили. Так появились желтые нарукавные повязки с надписью «придворный еврей». Через некоторое время забывались и их лица, просто потому, что «придворные евреи» оставались, а остальные, безликие, приходили и уходили.

Но постепенно стабилизация дала лица и имена и другим, в первую очередь старшим среди капо и бригадиров, потом и еще некоторым «специалистам». Повязка «придворный еврей» стала лишней и даже опасной. Легавый со своим опытом полицейского чувствовал, что нехорошо, когда одни и те же люди долгое время остаются вместе, а кроме того, он был против всех театральных представлений, к которым Франц (Лялька) имел особое пристрастие.

Кроме того, в восприятии тех, кто работал, не разгибая спины, сбивая в кровь руки и ноги, название «придворный еврей» начало приобретать такой же негативный оттенок, как выражение «чистая публика». Поэтому сегодня «придворными евреями» называют всех евреев, работающих в нижней части лагеря, перед жилыми бараками эсэсовцев и охранников, евреев из «гетто», из мастерских, кухни, гаража, а также из «большой кассы».

Здесь есть и такие, кому до сих пор выпадает счастье во время работы соприкоснуться с природой, видеть царство смерти с внешней стороны, на время удалиться от трупного запаха, который проникает повсюду: в легкие и в дерево бараков. В те минуты, когда их гонят из лагеря в лес, когда они

---

\* В средние века в Европе «придворными евреями» называли евреев, служивших местным правителям.

должны обламывать и собирать сосновые ветви, они могут дышать воздухом жизни. Но в бригаде «Маскировка» задерживаются только те, кто в состоянии высоко залезть на ель или сосну и дойти до лагеря с тяжелой связкой веток. Потом они вплетают эти ветки в колючую проволоку и так поддерживают «маскирующую зелень» Треблинки.

Курланд, капо бригады «Лазарет», самой малочисленной бригады во всем лагере, — старейший могильщик и по своему возрасту, и по «стажу работы» в Треблинке. Через маленькие круглые стекла в проволочной оправе смотрят глаза, которые, вероятно, многое видели и многое понимают. Нос у него с горбинкой, во рту недостает зубов, щеки ввалились, а лицо словно окрашено темным, обгоревшим песком, перемешанным с пеплом. Висящая на поясе плетка постоянно ему мешает, она все время путается у него в ногах, на которых надеты валенки и брюки из грубой ткани. А так как он к тому же маленького роста, то ее конец волочится за ним по земле. Мне кажется, что шапка на нем — тоже из грубого материала, с козырьком и опускающимися «ушами» — еще из той одежды, в которой он приехал в лагерь. В тех редких случаях, когда он снимает шапку, видны начинающие седеть густые волосы. У него, как у капо, есть привилегия: он не должен сбривать волосы с головы. По ночам капо Курланд находится вместе с нами, рабочими евреями, в бараке в «гетто», а днем — в маленькой комнате в «лазарете», конечно, если нет новых эшелонов. Говорят, эсэсовцы заглядывают туда, чтобы поболтать. Я никогда не видел, чтобы они подняли на него руку. Никто из драчунов в очереди перед кухней во время раздачи еды ни разу даже случайно не толкнул его. Они даже уступают ему место. Он и два его помощника, тоже уже в возрасте, работают исключительно с огнем и смертью. И исходящий от них сильный запах отделяет их в этой части лагеря от остальных — совсем мелких, по сравнению с ними, могильщиков. Капо в «лазарете» Курланд стал, наверно, потому только, что при отборе людей с одного из первых эшелонов на вопрос эсэсовца, кем он был там, в жизни, ответил, что был фельдшером.

Староста лагеря Галевский раньше был инженером. Здесь он — аристократ, спикер рабов Треблинки. Вероятно, ему

уже около сорока, он немного сутулится, как это часто бывает с людьми высокого роста. Черные, седые на висках волосы, гладко зачесанные назад, делают лицо еще уже. Со своим скорее по-аристократически, чем по-еврейски загнутым носом и маленькими черными усиками он у СС считается достойной фигурой. Ведь на должность старосты лагеря им не мог подойти крикун и горлопан Раковский с большим бабьим лицом, или какой-нибудь талмудист, или вор с варшавского дна. Им нужен был человек, глядя на которого они бы не испытывали желания тут же его прибить. Галевский хорошо понимает, что выпало на долю тех, кого отобрали на работу в Треблинке. Перед эсэсовцами он с правильной выправкой и без лести щелкает каблуками своих начищенных до блеска сапог и говорит на вполне сносном немецком. С нами он также вежливо-сдержан; когда он приказывает, скорее просит, сделать что-либо, то всегда на польском. Идиш он понимает, но разговаривать на нем не может. Он выходит из себя, только когда видит бессовестный обман, например при распределении еды, или когда не хватает воды.

Как человек в Треблинке понимает, что он уже что-то значит, что у него уже есть лицо и имя? Просто потому, что вечером он легко может пройти в мастерскую, лучше всего в швейную, где собирается «общество». Не все могут пройти сюда в свободное время, до 9 часов, чтобы немного поиграть в жизнь. Перед дверью собирается толпа, ругательства и проклятия переходят в драку, в которой все проигрывают — даже те, кто разнимает дерущихся. А внутри — беседы и даже натопленная печь, это сейчас, в начале зимы. Маленький Эдек играет на гармонии, рыжий Шерман — на скрипке, Сальве поет. Остальные стоят вокруг рабочих столов. Иногда заходит кто-нибудь из женщин. Из разговоров явствует, что некоторым удастся, несмотря ни на что, удовлетворить какие-то свои желания. Исходя из своих ощущений, я не могу этому поверить. Ведь чувства здесь сгорают быстрее, чем сжигают само тело. И вообще, где они могли бы это делать, если женщины живут совершенно отдельно от нас и если везде, куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был, ты всего лишь часть копошащегося муравейника. Треблинка не знает ни тишины, ни одиночества — ни для кого из нас.

## ЧТО-ТО МАЛЕНЬКОЕ, ЧТО МОЖНО СПРЯТАТЬ В КАРМАН

Еще до того, как я продвинулся на несколько метров в длинной очереди перед кухней, наступила ночь — бесснежная, морозная, звездная. Матово светятся высокие четырехугольники дверей кухни и бараков, над входом в «гетто» — резкий свет прожектора, сквозь деревья мерцают лампы над бараками эсэсовцев. Когда я оглядываюсь, то вижу, как у меня за спиной над «лагерем смерти» темно-багровое сияние переливается в морозной вышине никогда раньше не виданным спектром красок: оранжевым, желтоватым, темно-фиолетовым, фиолетово-зеленым.

В надтреснутой миске примерно пол-литра мутноватой жидкости, в которой плавают две картофелины в мундире и немного картофельных очисток. Миска обжигает пальцы. Я иду осторожно, стараясь избежать толчков. О, Господи, только бы у меня не выбили из рук миску. Она сейчас — все мое достояние, только бы донести ее и поставить на нары, она — моя жизнь...

Подготовка ко сну — это и тщетная попытка избавиться от вшей. Чем больше мы на себя надеваем, чтобы защититься от зимних морозов, тем больше на нас заводится вшей. Чем меньше мы на себя натягиваем, тем сильнее кусается мороз.

Роберт, уже переодевшийся на ночь, подпрыгивает на нарах. Прямо на тело, под толстым свитером, у него надета длинная женская ночная сорочка из шелка: на шелке вшам труднее удержаться. Обритую наголо голову согревает ночной колпак — обрезанный и завязанный сверху узлом женский чулок. Пока мы одеваемся примерно так же, Роберт распыляет из пульверизатора для духов что-то вроде дезинфицирующей жидкости. Какая-то кокетка прихватила с собой этот сосуд из шлифованного стекла. А может, и прежний владелец уже применял его не по назначению, а точно так же, как Роберт.

— Смирно! — раздается от двери барака. На верхних и нижних нарах мы подскакиваем, выпрямляемся по стойке «смирно» и отдаем «честь» заглядывающим эсэсовцам и охранникам — в ниспадающих длинных рубашках из розовой, голубой, желтой фланели в цветочек, в шерстяных дамских

комбинациях, в облегающих кальсонах, в ночных колпаках и напульсниках, — призраки, шуты ряженые, пугала ого-родные.

После парада мы заворачиваемся в одеяла и при этом ведем шепотом дебаты относительно Кубы, старосты нашего барака, который с некоторых пор никому не нравится. Последнее слово остается за Гансом:

— Мне достаточно того, что я вижу, как этот парень каждый вечер, прежде чем лечь, что-то жует. Если в такое голодное время человек жует больше других, ему нельзя доверять.

Утром мы поднимаемся во влажном тумане, насыщенном дыханием и испарениями 350 человек. Влага оседает на стенах и голом полу. Одеяла и одежда — все клейкое и мокрое. Наверху на балках висят крупные капли, они отрываются и падают на нары. Когда открывается дверь барака, облака пара вырываются в морозное серое утро.

— Эй, курва мать твоя, сукин сын, — ругают кого-то, кто, заправляя постель, встряхнул одеяло с верхних нар прямо в лицо соседу.

— Ах ты, холера ясна, — это кто-то, надевая сапоги, теряет равновесие, падает и увлекает за собой еще двоих.

— Генек, проше тебе — я тебя умоляю, встань, ты должен, соберись! — подбадривает кто-то своего товарища.

— Ка койах — у меня нет больше сил, — ответ на идиш теряется в гуле остальных голосов.

— Ты, свинья, — возмущается Руди, который висит, ухватившись руками за балку, над нарами. — Тебе обязательно на парашу, когда дерьма уже и так через край? Так ведь можно... — Но тут его перебивают:

— О, о, ого, Рудек, и что же может случиться тут в Треблинке? — Руки взлетают вверх, брюки падают вниз, и еще несколько оголенных задов присоединяются к безумному хохоту.

— Ты хранил меня в течение прошедшей ночи, Всемогущий, и сделал так, что я увидел свет следующего дня — да будет благословенно имя Твое. — Для утренней молитвы он обвязал ремешки тфилина вокруг руки и головы, которой он ритмично бьется о нары как раз под моими ногами. Может быть, это один из здешних «святых мужей», которые начали

верить, что Гитлер — избавитель от грехов, мессия, который соберет всех евреев в одно место — в Трешлинку?

Киве в длинной военной шинели с большим меховым воротником объявляет на утренней перекличке, от его дыхания поднимается облачко пара:

— Сегодня прибывает эшелон. Всё с эшелона — все продукты — перенести на склад. И вот что я вам скажу, — его голос переходит в пронзительный крик, — кто возьмет себе что-нибудь из продуктов, и вообще, кто спекулирует, тому придется плохо!

«Спекулировать, спекуляция» — эти слова употребляются здесь так же часто, как «лазарет» и «душ». Они пришли снаружи, из жизни, и исказились здесь, как всё в Трешлинке. «Спекулировать» означает взять тайком, урвать, стащить, «контрабандой» пронести в барак — еду, одежду, деньги, золото; для группы, или для собственных нужд, или для обмена. Сейчас, в голодные времена, маленький завскладом Беник, который не имеет доступа наверх на сортировку, дает за пару сапог полный горшок крупы со склада. Ребята из столовня мастерской тайком варят ее и получают за это половину порции. За ловко вложенную в руку пачку банкнот «добрый пан охранник» также незаметно даст кусок белого хлеба, немного колбасы, бутылочку водки и несколько махорочных сигарет — все это будет завернуто в коричневую бумагу. Каждый должен спекулировать, чтобы продержаться.

Хотя снега совсем не было, весь сортировочный плац сегодня утром совершенно белый. Иней покрыл крыши барачков и осыпал, словно сахарной пудрой, зеленое ограждение, которое окружает весь лагерь и делит его внутри на различные отсеки, вроде больших загонов на бойне. Пока мы промаршировали наверх до «барака А», на усах у Цело появились белые льдинки. Термометр у входа показывает 31 градус Цельсия ниже нуля.

После протяжного свистка слышно, как въезжают вагоны — с еще большим скрипом, чем обычно. Каждый из нас почти уверен, что ни один эсэсовец не заглянет в барак. При прибытии эшелонов большинство из них — на платформе и на плацу-раздевалке, где они наблюдают, как идет дело. Я залезаю наверх на сложенные тюки с отсортированными

пальто, совсем высоко, до дощатой стены, которая отделяет нас от перрона. Карл тем временем стоит внизу на стрёме. Через щель мне видно запертый вагон для скота, покрытый ледяной коркой. В маленькое зарешеченное окно выглядывают несколько пар глаз.

Один из «синих» начинает трясти железный засов задвигающейся двери. Но он не может сдвинуть его с места. Ругань, несколько раз на его голову со свистом опускается плетка — я вижу только две руки в форме. «Синий» исчезает и появляется снова с молотком. Он бьет снизу по примерзшему крюку, в то время как плетка бьет по нему. Это все выглядит, как какой-то странный механизм, который преобразует каждый удар плетки в удар молотка. Наконец запор поддается, но заело дверь, ее никак не могут сдвинуть. Еще один «синий» прибегает с чем-то напоминающим кувалду. Снова в одном такте с плеткой он до тех пор бьет по раме двери, пока дверь не сдвигается с места, вначале немного, потом больше. Из черного отверстия вываливается невообразимое количество людей. Через мгновение на перроне мечутся люди с рюкзаками, мешками, связанными одеялами, кастрюли катятся по блестящему, покрытому льдом перрону.

Одна женщина и двое мужчин лежат прямо перед дверью. Не похоже, чтобы они были совсем мертвые, но на них уже падают другие, а о тех спотыкаются следующие. Сверху скатываются мешки, какая-то старуха валится лицом на пол, не может подняться, только несколько раз приподнимает голову. Когда кто-то спотыкается об нее, задирается юбка. Она вся покрыта испражнениями, наверное, у нее дизентерия — я уже видел такое.

Мальчик лет двенадцати останавливается около двери, глаза его выглядывают из-под кепки, наползающей на уши. Что-то тянет его вниз на землю, а когда он сваливается вниз, край его длинного пальто защемляет между дверью и стеной вагона. Мальчик исчезает — проваливается в узкую щель между перроном и вагоном. Виден только кусочек зацепившегося пальто, натянутый весом ребенка, оказавшегося где-то под платформой.

Из вагона с трудом выходит крупный молодой мужчина, за ним — женщина. Голова мужчины не покрыта, длинные

волосы всклокочены, на лице — черная щетина, длинное пальто болтается на нем, как на вешалке, все пуговицы оторваны. Под ухом — темное пятно запекшейся крови, на ногах — рваные серые валенки, в каждой руке по узлу. К несчастью, женщина сзади него наступает на голову одного из упавших, теряет равновесие и в поисках опоры выбивает из рук мужа узел. Тот развязывается, из него вываливается жалкий скарб — картошка, горшочек с маленьким кусочком маргарина, свернутое белье, грязные полотняные мешочки, сморщенные, полупустые, наверное, с едой. Мужчина обращается, хватая женщину за руку, поднимает. Но в ту же минуту он сам сгибается под ударами плетки Легавого: они двигаются недостаточно быстро. Второй узел тоже падает на землю. Лицо мужчины перепачкано кровью, но она не стекает, а из-за мороза застывает темно-красными полосами и сгустками. Он пытается своим телом загородить от ударов жену, не хочет ее отпустить. Вот он выпрямляется, словно для сопротивления. Тут уж Легавый от ярости закипает. С другой стороны на помощь подскакивает Зепп-Хиртрайтер и наносит два удара убийственной силы. Все исчезают из моего поля зрения.

У мужчины были желтые звезды на пальто спереди слева и на спине. Значит, это эшелон из оккупированной области Советского Союза. Там так метят евреев. Евреи из Польши носят белые нарукавные повязки с синей звездой Давида. У евреев, прибывающих с эшелонами из Терезина, на левой стороне груди знакомые желтые звезды с надписью «Jude» — так метят евреев в Европе.

Суетня и крики на платформе затихают. Последние люди, пошатываясь, выходят из вагонов и с жадностью дышат. Ни одного чемодана или настоящего рюкзака, только ранцы, узлы и мешки с привязанными веревками, чтобы можно было нести на спине. Уже по одному этому я вижу, что эшелон — бедный и пришел откуда-то с востока.

— Давай быстро вниз, — шепчет мне Давид Брат, который смотрит в щель рядом со мной, — сейчас они погонят нас очищать перрон, а в этом поезде в каждом вагоне наверняка остались горы... — Сигналы, предупреждающие об опасности, передаются по барраку, от бокса к боксу.



Вначале нужно вытащить из каждого вагона мертвых и тех, кто не может двигаться. Я натягиваю шапку на уши, бегу к первому вагону и хватаю две ноги, я тяну, но ничего не получается. На тело, которому принадлежат эти две ноги, навалены еще и другие тела. Я хватаюсь за две тощие женские ноги. Грубые чулки хрустят под моими руками. Наверно, они не раз промокали. Снова в вагон. Теперь сверху лежит мертвец с перерезанным горлом, голова висит где-то сзади. Это работа тех украинских ребят, которые сопровождали эшелон от восточных гетто. Лучше попробую потянуть другую свободную руку, но я тут же отпускаю ее. Я чувствую, если ухвачусь как следует и потяну, рука сломается. Нет, уж лучше тот, с перерезанной глоткой. В этот момент у двери останавливается Бёлитц в меховой шапке вместо пилотки и заглядывает в вагон.

Наконец вагоны пусты. Теперь — быстро за одеяла, на которых мы уносим мертвых с перрона в «лазарет». Карл, Давид Брат, Люблинк и я вместе тащим одно одеяло, каждый держит свой угол. Как они хорошо лежат, аккуратно разложенные вдоль всего перрона, ногами к стене барака, головами — к вагонам. Теперь они выглядят уже не так ужасно. Они — просто предметы, вот и хватай их как предметы. Если ты будешь рассматривать каждого, это плохо для тебя кончится. Нет, вообще не смотреть не получается — застывшие глаза, я все время застреваю на них, не могу смотреть мимо, они меня все время ловят, повсюду несчетное количество глаз, все неподвижно направлены на меня, они становятся все больше и больше, вот они уже закрывают лоб, все лицо, кажется, что челюсти начинаются сразу под глазами... Стоп, так нельзя. Ну, хорошо, смотри, смотри внимательно, словно все это очень интересно, словно ты их изучаешь, каждого в отдельности. А сколько, собственно, существует типов мертвцев? Есть желтые, как воск, есть истощенные, есть опухшие и невероятно тяжелые, с маленькими фиолетово-черными дырочками от пуль и неожиданно разноцветными пятнами от колотых ран. Это интересно, захватывающе, необыкновенно интересно...

Сколько раз я уже пробежал с грузом в «лазарет» и обратно на перрон? Теперь на очереди какой-то старик, одетый

только в длинную рубашку, кучка костей, обтянутых кожей, на коже огромные белые пятна. Я легко охватываю его лодыжки пальцами. Когда мы его поднимаем, начинает шевелиться что-то рядом с нами. Женщина, средних лет, с трудом садится. Распущенные волосы торчат, как пакля, все лицо испачкано грязью, покрыто какими-то пятнами. Но страшнее всего выражение ее лица...

— Сумасшедшая, — слышу я осевший голос Люблинка.

Мы поднимаем одеяло с мертвым стариком. Он легкий, как пушинка. Женщина снова падает на спину. На ее ногах лежат узлы. Снизу слышен мощный голос капо Раковского:

— Побыстрее с мертвыми, быстрее, бегом...

Вот лежит горшочек, в нем немного сала или чего-то похожего. Несколько человек с одеялами пробегает мимо — и вот уже он исчез во всеобщей суматохе.

Мы прибегаем в «лазарет». Старик в рубашке, описывая большую дугу, летит вверх, падает в яму и исчезает в языках пламени, концы которого на морозном воздухе окрашиваются в зеленый и фиолетовый цвет. Наверху над костром топчется, чтобы согреться, на блестящем от инея валу охраннык в длинной, по щиколотку, коричневой шубе с бахромой. Когда мы поворачиваем назад, следующие уже рассказывают свою ношу на одеяле:

— И — рраз!

Тело с длинными волосами взлетает на воздух — это та сумасшедшая из вагона. Давид Брат делает шаг вперед, в правой руке он все еще держит свой угол одеяла, протягивает левую, и его выступающие вперед зубы выступают еще больше:

— Нет, она не...

Над всеобщим шумом раздается жуткий вой. В огне она приподнимается...

— Чего вы тут кричите и бездельничаете, пошли отсюда! — Мите резко оборачивается и смотрит на нас, ноги расставлены, фуражка сбита далеко на затылок, обычно бледное лицо налилось красным, словно сварилось, но глаза, как всегда, стеклянные.

— Ты видел мальчишку с распухшим животом и лицом? — спрашивает, тяжело дыша, Давид Брат, когда мы

снова оказываемся в бараке. — Знаешь, от чего это? Нет? Это от голода, такая стадия голода. У нас эшелоны из гетто вначале загоняют в карантин — по крайней мере, они это так называют, — и уже там многих расстреливают. Наверное, там-то мальчонка и лишился родителей. А кто же станет заботиться о чужом ребенке, когда у человека нет больше сил заботиться даже о своих близких?

Давид своими костистыми пальцами хватает меня за плечо, и над его большими зубами появляется терпеливо-печальная улыбка:

— Рихард, ингеле\*, ты не знаешь, да никто из вас не знает... С вами, из Терезина, до Треблинки обходились как с господами. Вы приехали в пассажирских поездах. А у нас Треблинка начинается уже в гетто. И почти все как-нибудь да помогают ликвидировать евреев. Или по меньшей мере согласно кивают головами...

Маленький Авраам приносит с улицы охапку женских пальто для сортировки, что-то слишком рано. Ганс выпрямляется и спрашивает, уже догадываясь:

— Эй, чего это ты так торопишься? А ну, что у тебя там под пальто? — Ногой он расшвыривает пальто по полу, пока не наткнется на то, о чем догадывался. — Авраам, дружище, ты — скотина. Мог бы, по крайней мере, подождать, пока хозяин мешка умрет!

Авраам уже стоит на коленях, согнувшись над мешком, он уже залез в него руками. Со стороны кажется, что он роется в сваленных на полу пальто. При этом он озирается по сторонам, как и Ганс, на которого он временами смотрит, и отвечает ему отрывисто, немного виновато, как бы извиняясь:

— Не все ли равно, Ганс, сейчас или потом. Я тоже мертв, еще больше, чем хозяин этого мешка.

Ганс держится рукой за перекладину и просовывает голову в наш бокс:

— Если я его сейчас стукну, то сам не буду уверен, из-за мертвеца или того куска сала, что он нашел.

С другого конца барака Цело гонит перед собой кого-то с такой же подозрительной охапкой вещей в руках. В первый

---

\* Мальчик (*идиш*).

раз мы видим, чтобы Цело ударил человека плеткой. Легаш, появившийся в глубине барака у входа, видит только, как эти двое проходят мимо нашего бокса и заворачивают к выходу, и в восторге орет:

— Да-а, Цело, вот так! Правильно! Дай ему! Дай как следует!

Цело возвращается и останавливается у нашего бокса, по его лицу текут слезы, может быть, от мороза, а может быть, от стыда и ярости.

— У одного из последних он вырвал прямо из рук...

— Ну. — Из бокса напротив к нам подходит приятель Да-вида Люблинк, у него смуглое лицо, он угловат, немного сторблен от непосильного труда. — Про этого парня я ничего не знаю, наверное, свинья. Но вон тот мальчишка из бокса мужских брюк, — он показывает рукой и приподымает кустистые брови, — того я знаю хорошо. Он наш, и я знаю, что дома он никогда не видел столько еды, что там, в жизни, он никогда так не наедался, как здесь, в Треблинке. И не то чтобы семья была такая бедная, но его тату все время копил, экономил, чтобы эмигрировать, в Америку или в Палестину — лишь бы уехать из Польши. На все, что ему удавалось накопить, он покупал доллары, бриллианты...

Снова свистки и скрежет вагонов на перроне. Сортируют вновь прибывших. Когда я отгаскиваю последние узлы, вынесенные из вагона, неожиданно на перроне снова появляются Бёлитц, Бредо и другие:

— Капо бригады «красных», вот, возьми еще этих людей на подмогу, пусть унесут одежду и весь этот хлам...

Я уже понимаю, о чем идет речь. Мы должны унести снятую одежду оттуда, с плаца, где раздевают мужчин, и из барака, где раздеваются женщины. Там много всего валяется. В одиночку «красные» не справятся с этим достаточно быстро.

Нас гонят прямо в тот барак. Обычно я всегда вижу поверх куч одежды еще несколько голых спин,двигающихся в направлении «парикмахерской». Но сегодня барак еще полон. Почти вдоль всей длинной стены стоят, тесно прижавшись друг к другу, голые тела — огромная картина, фреска из сплошных обнаженных спин, животов, руки прикрывают грудь, волосы распущены. У противоположной стены сло-

жены большие и маленькие стопки одежды. Запах тел заполняет нос, рот, от него щиплет глаза. В общем шуме в уши сильнее всего врзается плач детей.

— Эй, ты! — Один из «красных», прошедших уже огонь и воду, вырывает меня из парализующего изумления и показывает, откуда начинать. Когда я медленно наклоняюсь к одежде, все еще глядя вперед, он подмигивает мне, сгибается и кричит мне в ухо по-польски, медленно и четко, чтобы я понял: — Ну что, сбывлась твоя мечта из прошлой жизни, увидеть сразу такую толпу голых баб? Рушай ще, язда — поехали, двигайся, быстрее, быстрее!

Еще шесть раз перрон наполняется людьми, и после ухода тех, кто может держаться на ногах, я вижу одно и то же: лохмотья, скелеты, обтянутые кожей, мертвые и умирающие. К вечеру весь эшелон обработан — больше пяти тысяч человек.

Нет смысла сортировать пальто по качеству после таких нищих эшелонов. Поэтому мы, обе рабочие группы «мужских пальто» 1-го и 2-го сорта, вместе обрабатываем все, что попадаетея нам в руки. Я осторожно снимаю еврейскую звезду и, обыскав, откладываю в сторону короткое зимнее пальто, какие здесь называют курткой. Белые шнуочки едва заметно движутся в бороздках стеганой ватной подкладки. Это — ряды медленно ползущих вшей.

Виллингер, только кажущийся беспомощным, берет куртку в руки, ощупывает ее, подпарывает плечо и находит за стеганой подкладкой пять двадцатидолларовых бумажек. Кроме того, что при подобных операциях совершенно необходима его физическая сила, у Виллингера при всей его простоте есть еще одно качество, то, что называют «еврейским носом». Его нос над маленькими усами очень тонкий. Но я имею в виду очень тонкое чутье Виллингера. Он останавливает свой взгляд на паре детских ботинок. Что-то словно подталкивает его, вот он уже хватает ботинок, отрывает каблук — там золотая двадцатидолларовая монета. Потом его маленькие шныряющие во все стороны глаза останавливаются на женском поясе, грязном и потертном, который никого из нас не заинтересовал. Он начинает ощупывать пояс своими толстыми пальцами, разрывает его и находит не-

сколько монет — золотые пяти- и десятирублевки. Виллингер чувствует вокруг себя восхищение, он кажется себе очень важным, больше всего ему хотелось бы самому все прощупать и рассортировать. Теперь он демонстрирует и свою физическую силу:

— Нет-нет, я сам. — Он снимает у меня с плеча тюк отсортированных пальто и одной рукой зашвыривает его наверх большой кучи в боксе. — Хлопцы, поберегите свои силы. — Он смотрит на меня и Карла. — Они еще вам понадобятся, вы того стоите... — Вначале я застываю, потом чуть не кричу от стыда. Этот огромный мужик откуда-то из Ченстохова считает нас ценнее себя — вроде детей, которых надо спасти, мы — то, что должно сохраниться от рода...

Тем временем Виллингер уже снова выудил из подкладки пальто что-то блестящее. Он тайком показывает нам свою находку и торопливо объясняет:

— Может потянуть на шесть каратов, Кароль. — Виллингер как-то нежно наклоняется к Карлу. — Зачем дом? Зачем поместье? Нам надо такое, что можно быстро взять с собой. Что-то маленькое, что можно спрятать в карман!

### ТИФ ПРОТИВ АКЦИИ «Ч»

После эшелонов с Востока, кажется, из Гродно, а может быть, из Бялыстока, на платформе снова надолго устанавливается тишина. Мороз слабеет, голод крепчает, и вши заражают всю Треблинку.

Приходит Цело, чтобы осмотреть тайник, который мы устроили в нашем боксе из отсортированных пальто. Из средней стопки мы вынули несколько тюков, так что возникло глубокое отверстие, окруженное со всех сторон другими тюками. Сверху это углубление тоже прикрыто узлами.

— Так, туда поместятся три, а то и четыре человека, — говорит Карл. — А если будет погрузка или что-то еще непредвиденное, мы моментально засыплем его тюками.

В последнее время мы ненадолго прячем в этом тайнике тех, у кого появилась странная лихорадка. Но вскоре он должен будет выполнить свою главную задачу в нашем большом плане. Всё, больше никаких одиночных попыток побега, ни-

каких «десятерых расстрелянных за одного бежавшего», как обещал Лялька, — мы все, все сразу...

На зиму работа большей частью была перенесена в бараки. И хотя обходы эсэсовцев были нерегулярны, мы заметили, что они, разделившись на группы, обходят бараки наверху на сортировочном плацу и мастерские внизу через определенные промежутки времени.

Кажется, самое подходящее время — между тремя и четырьмя часами пополудни, когда они сменяются — по нашему предположению, чтобы попить кофе.

— И вот в этот час «Ч» в каждом бараке у двери станут надежные люди, — объясняет Цело план, который он обсудил со старостой лагеря Галевским, капо Курландом из «лазарета», инженером Зудовичем из строительной команды и еще с кем-то из мастерских. — Войти в барак может всякий, но выйти — ни одна живая душа, кроме заключенных. Если войдет кто-то в форме, вы сразу натягиваете ему пальто на голову и веревку на шею. Чтоб никаких ножей, никаких ударов, ни капли крови, потому что может прийти несколько человек подряд.

— А что, если ввалятся сразу несколько? — раздается из одного бокса.

— Вы сами знаете, сколь маловероятно, чтобы через один вход вошло сразу шестеро. Но и в этом случае с ними должно произойти то же самое. Мы рассчитываем, что одновременно смогут войти не больше троих. Поэтому у каждого входа будет выставлено по десять человек, а кроме того, будет назначен еще и резерв. Каждого из *них* берут на себя три человека, в зависимости от того, как они будут входить. Если входят двое и идут рядом друг с другом, то тот, кто выше рангом, достается первой тройке. А у этого входа вы затащите их в тайник между пальто и там прикончите веревкой, которой связывают тюки. Все должно произойти во всех бараках в течение одного часа. Отобрав у них оружие, быстро начинаем штурм комендатуры и оружейного склада, всё поджигаем...

Разговор прерывают вошедшие люди с кухни. Сейчас, зимой, мы работаем без обеденного перерыва. Обед нам приносят в бараки, прямо на рабочее место: ведра, напол-

ненные эрзац-кофе, и хлеб в простыне, уже порезанный на порции. Процессия останавливается у каждого бокса. Глаза отыскивают самый большой кусок хлеба, внимательно следят за руками, распределяющими хлеб. С собственной порции взгляд скользит на порцию соседа, потом на следующую, потом в соседний бокс. Мы сравниваем.

Дебаты относительно акции «Ч» продолжаются вечером у Симки в столярной мастерской. Симка сидит, подложив под себя руки, на столярном верстаке и болтает скрещенными ногами. Здесь, в Треблинке, он не промахнулся с профессией. Он — квалифицированный столяр. Вообще меня поражает, как много здесь ремесленников и рабочих. У нас большинство было коммерсантами, страховыми агентами, людьми с высшим образованием, а тут много портных, сапожников, ювелиров. Но есть и банкиры, как, например, Александер, капо бригады «золотых евреев».

— Да что там, все равно умирать — только вначале каждый еще увидит себя голым, висящим вверх ногами, головой вниз, — слышу я, когда начинаю снова прислушиваться к разговору.

Продолжая сидеть, Симка немного выпрямляется и выпячивает грудь, непропорционально сильную для его маленькой фигуры. Обритая наголо голова совсем черная из-за густой щетины, лицо с темно-коричневой кожей, низкий лоб с двумя складками и густые черные брови, сходящиеся над курносом носом.

— Я уже решил, что не буду бежать из Треблинки. Я хочу остаться здесь, рядом с моими, отомстить за них и показать миру... — Кажется, что Симка говорит это самому себе, пытается убедить себя, что ему больше ничего не остается. — Я не могу отделаться от мысли, что это — не то дерево, с которым я работал всю жизнь, что здесь каждый кусок дерева — словно мертвец с той стороны, что я без остановки режу и пилю близких мне мертвых людей...

— В любом случае нам надо точнее знать, что происходит в эсэсовском бараке и комендатуре, — вслух размышляет Целло. — Действительно ли там каждый час раздается телефонный звонок из Малкиня и какая там есть телеграфная связь...

— А что будет со вторым лагерем? — спрашивает Симка.



— Мы должны разделиться и напасть одновременно на комендатуру и второй лагерь. Завершить операцию в первом лагере, а потом напасть на второй. Наше положение наверняка лучше, чем у людей на той стороне. Настроения среди украинцев...

— Про них никогда не знаешь, что они сделают, — замечает Симка. — Может быть, увидев, что мы напали на СС, они убегут без единого выстрела. Но скорее всего, будут драться, как бешеные. Они слишком хорошо понимают, что им нигде не будет лучше, чем в Треблинке. И с подкупом то же самое. Денег, золота, украшений у них полно. Все небось в лесах закопали. Само собой, им всегда будет мало. Да только они возьмут у тебя кучу денег и золота и пообещают что угодно, а потом со спокойной совестью, то есть вообще без всякого зазрения совести, предадут тебя.

В последующие дни сразу после вечерней переклички Цело отправляется к Галевскому и к Курланду, да и у нас все время гости сменяют друг друга. Нужен бензин, а значит — Штанда Лихтблау. Он работает в гараже. Изю всех нас, двадцати чехословацких заключенных, он сделал в Треблинке самую большую «карьеру». В Остраве, в Моравии, он был автомехаником. С ним эсэсовцам особенно повезло. Никто не разбирается в машинах лучше него. Поэтому его шеф, унтершарфюрер Шмидт, никогда не обращается с ним плохо. И вообще у Штанды привилегированное положение. Сейчас у нас на нарах он делает вид, что пришел к Роберту, чтобы взять какую-то мазь, а сам о чем-то сговаривается с Цело. Он немного похож на Симку фигурой, но и только, в остальном он совсем другой. Не так крепко сложен, у него все еще розовые щеки, и он улыбается — не поймешь, радостно или печально. Он кивает Цело и заканчивает разговор:

— Меня не остановит суп из украинской кухни, который они мне дают дополнительно.

Тем временем Роберт уже приготовился распылять свое дезинфицирующее средство и оборачивается к Цело. Тот торпливо кивает и показывает ему жестами, что Карл и Ганс уже спустились с нар и что ему тоже пора вниз, иначе мы не сможем улечься. Но на этот раз Роберт, обычно спокойный,

выходит из себя. Он стоит перед нарами, подняв свое детское лицо, и напускается на нас:

— Подождите, вы, идиоты! Не прыскайте мне этой дрянью в лицо! Вы хоть понимаете, что, строго говоря, мы уже, как автоматы, всё делаем сами? Что им даже не надо нас бить? Они нас так выдрессировали, что мы скоро сами будем обрабатывать эшелоны, а им останется только стоять и наблюдать. Да Мите и Ментцу придется еще заглядывать в «лазарет», чтобы потренироваться в точной стрельбе.

На следующий день на перекличке докладывают о 12 больных, через день — о 16, а потом так называемая еврейская амбулатория оказывается полностью забитой людьми с высокой температурой. Наш тайник под сложенными пальто тоже полон — по другой причине, чем мы планировали. В следующие недели, наверное, каждый третий, а потом и каждый второй едва волочит ноги от температуры за срок — сыпной тиф.

Роберт говорит, есть разные виды сыпного тифа. В Треблинке распространился не самый тяжелый вид сыпняка, но он сопровождается более высокой температурой. Между собой мы не говорим, что у кого-то тиф, мы говорим: у него «треблинка». Непосредственно от больного заразиться нельзя. Болезнь переносят вши. А они появляются там, где грязно, где нельзя как следует выстирать, а лучше всего прокипятить белье.

Болезнь начинается с температуры, которая быстро поднимается выше 40 градусов. Само собой разумеется, каждый заболевший ходит, пока может таскать ноги, старается спрятаться, пока есть силы. Только потом он идет к доктору Рыбаку в амбулаторию. А там никогда нет места. Обычно в амбулатории помещается около 20 человек. А сейчас туда уже запихнули больше 30.

— Приходи через два-три дня, — говорит, как правило, Рыбак.

Это означает, что надо вернуться обратно, к борьбе за жизнь, к игре в прятки, особенно с вездесущим Мите. До каких пор? Пока не освободится место, пока Рыбак не выпустит кого-то из амбулатории или Мите не прикажет отнести больного в «лазарет». И тогда, если «кандидат» не

обессилеет или если его не прикончат прямо на месте, иначе говоря, если за него есть кому походатайствовать, если его сочтут полезным для «общего дела», то он, наконец, попадет в амбулаторию. Там он будет лежать в невообразимой грязи и думать только о Мите. Ангел Смерти приходит каждый день, иногда вместе с Легавым. Рыбак должен докладывать им о тяжелых случаях. Амбулатория вроде сосуда, который не должен переполняться. Тем, кто считается безнадежными, вводят какой-то наркотик и уносят в «лазарет». Как ни странно, здесь все еще есть найденные в эшелонах медикаменты, которые доктору Рыбаку разрешили сохранить или достались благодаря «спекуляции». Кроме «уколов для лазарета», которые делают безнадежным, Рыбак делает «подающим надежды» какие-то укрепляющие уколы. Но, когда Рыбак в испачканном халате залезает на нары со шприцем в руке, никто не верит, что это не «лазаретный укол».

Критические дни в болезни — восьмой и девятый. Легче всего переносят болезнь худощавые, подвижные люди, тяжелее всего — крупные, полнокровные. По словам Роберта, который работает в амбулатории помощником Рыбака, самые частые осложнения — воспаление легких, менингит и просто помешательство.

Когда в конце февраля — начале марта дни делаются длиннее, обед снова начинают выдавать вниз, на кухне. Мы пользуемся коротким обеденным перерывом, чтобы навестить кое-кого в амбулатории. Амбулатория имеет в ширину метров пять и находится между еврейской кухней и жилым баракком. У нее общий вход с этим баракком. Вход в саму амбулаторию — это просто занавеска из одеял. Сбоку перед маленьким окошком стоит стол с медицинскими инструментами, а позади него — ниша, обшитая неоструганными досками. В нише стоит диван, из которого вылезает конский волос, у стен — полки. Это — приемная. А над ней, вроде курятника, комната, в которой живет доктор Рыбак. Ниша покрыта досками, которые являются одновременно потолком кабинета врача и полом его комнаты. Столярам пришлось сколотить приставную лестницу, чтобы господин доктор мог залезать на насест в свою постель.

От окна в глубину амбулатории ведет узкий проход между двумя рядами двухэтажных нар. Испарения температурающих больных, «ароматы» из расположенной рядом кухни и гнилостный запах древесины ложатся мне на лицо и грудь. Крошечное оконце дает так мало света, что едва можно различить пятна от еды, от рвоты, кровавые полосы от раздавленных блох и вшей на одеялах, которые когда-то были красными, желтыми, зелеными.

Бородатые, скорбные лица, полуоткрытые рты с потрескавшимися губами, выступающие скулы, широко раскрытые глаза с неестественным блеском, неразборчивые слова и вскрики — это рабочее место доктора Рыбака. Здесь он работает каждый день и — в отличие от нас — каждую ночь тоже. А когда кто-нибудь на собственных ногах покидает амбулаторию и протягивает ему руку, чтобы поблагодарить, Рыбак, врач из Варшавы, проучившийся даже несколько семестров в Пражском университете, обычно говорит:

— Тебе надо бы не благодарить меня, а проклинать. Я ведь не жизнь тебе возвращаю, я посылаю тебя обратно ко всем мучениям Треблинки.

Когда мы попали в Треблинку, Ойген Бак, «Эйфелева башня», был, без сомнения, самым крупным среди всех. В нем было два метра роста. Мы казались себе карликами, когда он маршировал с нами в одном ряду; голову он держал всегда немного набок, лицо у него было продолговатое, веснушчатое.

— Безнадежен, — сказал Рыбак, как только мы вошли. Он провел рукой по прямым черным волосам, которые ему разрешили не стричь, и его широкое лицо стало еще шире.

После обеда у Ойгена начались приступы помешательства. Он разорвал ремни, которыми «красные» (их пришлось звать на помощь) привязали его к кровати. Потом, после «лазаретного укола», он лежал уже неподвижно.

Через открытый вход на нижнем конце «барака А», как раз напротив нашего бокса, видна та часть сортировочного плаца, которая ведет к «лазарету», — словно фотография диковинной декорации в рамке. В тот вечер «красные» с носилками восемь раз пересекли «сцену». И все время за ними шел своей покачивающейся походкой Мите. Франц-Лялька

и Бредо просто стояли на плацу, постукивая хлыстом по голенищу и провожая идущих взглядами. Каждый раз после звука выстрела процессия возвращалась уже с пустыми носилками. А одно тело под одеялами оказалось длиннее носилок. Голова была неприкрыта, подбородок задран вверх.

Мы ждем, пока раздастся выстрел, потом Ганс берется за следующее пальто.

— Значит, он уже не вернется в свой Пышели под Прагой, а как он об этом мечтал. Так и проходил все время в тех же ботинках, в которых приехал, они уже давно порвались, да но он не мог найти себе подходящей пары — у него был сорок шестой размер, а сюда не привезли ни одного еврея с сорок шестым размером.

Легавый так неожиданно и яростно врывается в рабочий барак, что предупредительные сигналы не успевают. Он засек одного из наших, который, обессилев от температуры, облокотился на стопку узлов. Легавый плеткой в кровь разбивает провинившемуся лицо, а потом несется через весь барак, раздавая удары направо и налево, и вот я уже слышу, как в другом конце барака он напускается на Цело: весь «барак А» лентяйничает, лучшие работники стали симулянтами и лодырями. Он вылетает с угрозой: «Я вам покажу!»

После вечерней переключки, когда Легаш, выслушав доклады, закрывает свой журнал, раздается команда:

— Первый лагерь, разойтись, кроме «барака А»! За неслыханную лень и небрежное отношение к работе весь «барак А» будет наказан! Дополнительная строевая подготовка! — Легаш выплевывает каждое слово по отдельности. — На этот раз бригадиры и капо свободны. Я сам. Вольно, равняйся, стройся по трое, бегом — марш!

Карл, рыжий Йося и я бежим в первой тройке. Никто не хотел бежать в первом ряду. А теперь выясняется, что в этом есть свои преимущества. При командах «лечь — встать», которыми Легаш прерывает бег, перед нами есть свободное место. Бегущие сзади мешают друг другу, падают на ноги переднего ряда, не могут достаточно быстро встать, и удары плетки снова бросают их на землю.

Новая забава привлекает других эсэсовцев. Спустя короткое время темп задают только плетки, которые гонят нас

по апель-плацу. На углу плаца стоит Лялька и следит за происходящим, не вмешиваясь — возможно, от огорчения, что не он сам, обершарфюрер Курт Франц, является режиссером этого спектакля. Там, в нормальной жизни, всё это было бы обычным упражнением для спортсменов и солдат. Здесь, в Треблинке, для нас, больных «треблинкой», это — бег наперегонки со смертью.

— Кто снимет что-нибудь из одежды — в расход вне очереди! Держать дистанцию! Держи дистанцию, ты, собака! — И уже слышен чавкающий удар плеткой. Эсэсовцев, немцев с военной выучкой, эта неспособность к упорядоченному, дисциплинированному движению доводит прямо-таки до исступления. Ведь это выглядит так, словно вот этот Мойша, откуда-то из Рембертова, который неуклюже подпрыгивает, вместо того чтобы бежать как положено, издевается над ними.

На повороте я вижу весь плац. Только несколько рядов бегут относительно стройно. Те, у кого оказалось больше сил, попали из задних рядов в передние, заняв место тех, кто отстал и сошел с дистанции. Шестеро стоят в стороне, бесильно привалившись к стене барака. Среди них — 16-летний Ганс Бург. Вчера его выпустили из амбулатории после самых тяжелых дней в ходе болезни. Кровавую пену из полукрытого рта смывает кровь, которая течет из носа. Все остальные лица похожи друг на друга — из красно-черной мешанины, из крови и шлака, которым покрыт плац, смотрят затравленные глаза. А дикая охота уже в полном разгаре. Эсэсовцы выбирают себе жертву, гонят ее плеткой по плацу и ставят рядом с остальными у стены барака. Около них, затравленных и избитых, стоит Мите. Он их «принимает», теперь они принадлежат ему, Ангелу Смерти. Кукла-Франц тоже оказывается там и немного помогает. Совсем устоять он все-таки не смог.

Вот, значит, что они с нами сделают. Они нас просеют постепенно, по одному, чтобы мы не впали в панику, чтобы у каждого оставалась надежда, что он окажется среди тех, кто выживет. Да еще и настроят людей против бригадиров.

— Стой! Сомкнуть ряды! Равняйся! С сегодняшнего дня это будет новым наказанием для лентяев и симулянтов! Ра-

зойтись по баракам! Без ужина! — заканчивает Кюттнер наши мучения.

На нарах, прижавшись к маленькому зарешеченному окну, мы еще видим, как их уводят. Ганс Бург — самый молодой из нашей чешской группы...

И еще один, скорее мальчик, чем юноша. Его фамилию, Майер, Легавый установил на основании записки, которую с некоторых пор каждый сортировщик должен вкладывать в тюк с переработанной одеждой. Потом, когда вещи погружают в вагоны, чтобы увезти, эти записки вынимают. При одной из выборочных проб Легаш попадает в десятку. На ветхом женском пальто второго сорта, которое он приказал принести на середину сортировочного плаца и там поднять, как знамя, сияет желтая звезда. Которую нужно было снять. Она — словно знак судьбы, который женщина из пятидесятилетнего эшелона из Гродно передала этому мальчику из Варшавы.

Челку с его светлой, по-мальчишечьи постриженной головы они уничтожили сразу, а теперь они уничтожат и всю его шестнадцатилетнюю жизнь.

— В назидание всем он будет расстрелян на месте у вас на глазах, — объявляет Легаш об этом новом штрафе, после того как всех нас выстроили полукругом лицом к песчаному валу, отделяющему нас от второго лагеря. — Так, раздеться, — говорит он тихо, но достаточно громко, чтобы мы все слышали.

Теперь смотри хорошенько, сейчас ты увидишь, совсем близко, со всеми подробностями, как пристрелят одного человека перед многими другими людьми. Такое выпадает не каждый день.

Мальчик медленно раздевается. Один глаз немного прищурен, и это придает лицу со слегка загнутым носом и тонкими, четко очерченными губами какое-то лукавое выражение. Да нет, он просто раздевается, чтобы ополоснуться, а не для того, чтобы его застрелили. О чем он подумал, когда взял в руки это пальто? Полураздетый, он садится на землю, смотрит налево и направо на эсэсовцев, которые стоят по обоим краям полукруга, словно спрашивая их: «Обувь тоже снимать или не надо?» Несколько раз он пытается, сидя, снять то один, то другой сапог.

Стой, подожди, пока ты стягиваешь сапоги, ты еще жив! Сейчас мы все бросимся, нападём, у нас на ногах сапоги, мы растопчем... Кто куда? С какой стороны? Мите повелительно ударяет одного из нас плеткой. О нет, не жди ничего. Мы еще поможем тебя разуться. Ну, вот, видишь, сапоги сняты. Он не плачет, не умоляет, как некоторые до него, а они были постарше. Он только озабоченно оглядывается по сторонам и ждет, ждет, что они шлепнут его пониже спины, улыбнутся и скажут, как это часто бывало там, в прошлой жизни:

— Смотри, больше никогда так не делай, забирай свои тряпки и проваливай...

Над валом поднялось холодное зимнее солнце, и на фоне этой огромной темно-красной мишени бежит скользящей походкой — словно одетый в черное горевестник — охранник, с восторгом размахивая над головой винтовкой:

— Господин унтершарфир-рер, позвольте мне... расстрелять... разрешите...

— А ты хорошо стреляешь? — спрашивает Мите.

Охранник, всего на несколько лет старше осужденного, делает жест, означающий уверенность в себе, и, когда Мите кивает, занимает удобную позицию, вполоборота к нам, винтовка все еще поднята у него над головой. Он смеется, он радуется.

Загорелый украинский парень делает еще несколько шагов назад, потом снова шаг вперед, вот он остановился, ставит ноги поудобнее. А мальчик, совсем ребенок напротив него, продолжает растирать руки, при взгляде в отверстие винтовочного ствола он еще больше прищуривает левый глаз, бровь над правым глазом ползет вверх, голову и плечи он поворачивает вбок, чтобы избежать того, что произойдет в следующую секунду, он немного отступает назад...

Выстрел — на груди появляется маленькое красное пятнышко, и в тот же момент тело с распростертыми руками взлетает вверх, потом падает на землю. Выпрямленные ноги упавшего уже судорожно дергаются, они сдвигаются и раздвигаются. Мите наклоняется над ним, приставляет пистолет прямо ко лбу и двумя выстрелами прекращает подергивание ног.



Вот, теперь ты еще раз видел в мельчайших подробностях, как жизнь превращается в смерть.

Мите и Кюттнер вместе вваливаются в амбулаторию. Легавый спрашивает Рыбака, нужны ли для ухода за больными три человека. Рыбак тихо отвечает, что двое, Роберт и еще один помощник, работают днем, а он сам — в основном по ночам. Кюттнер поворачивается к Мите со словами:

— Он, видно, хочет ввести ночную смену, — и решает, что со следующего дня Роберт, «медик», снова должен вернуться к сортировке медикаментов в «барак Б».

Этот налет Легавого преследует, кажется, какую-то цель. За этим что-то кроется. До сих пор проводилась общая чистка, просеивание и уменьшение наличного состава в периоды, когда не поступали новые эшелоны. Зимний холод, голод и болезни выполняли грубую работу. Было достаточно ввести упражнения по строевой подготовке на плацу — уже бегали и «барак Б», и «красные», и даже «синие» — и еще кое-какие наказания, чтобы выбраковать «доходяг». Это получалось и тогда, когда приходили пустые вагоны и их надо было загрузить. День, второй, третий бегали люди с тюками на спинах к перрону и обратно в бараки, где отсортированные вещи были сложены в стопки до потолка. С температурой выше 40 градусов они симулировали здоровье, силу и полную работоспособность. Некоторые падали сами, другим помогали эсэсовцы и охранники. Одно было хорошо в этой гонке: вечером, когда ты падал на нары, тебя уже не мучило чувство голода. Каждый день из Треблинки уходило несколько нагруженных товарных вагонов. На них были написаны мелом пункты назначения — Бремен, Аахен, Швейнфурт...

— Они подчищают тут все, отгрузка франко-дом, — говорил обычно Ганс.

Горы снаружи и стопы в бараках таяли. За деревянными загородками пустых боксов мы двигаемся, словно домашний скот, нервничая, потому что нигде нельзя спрятаться, нельзя передвигаться незаметно. Только в боксах с дамским и мужским бельем и в боксе мужских костюмов осталось немного тюков, да еще в так называемом «боксе А» лежат несколько отрезков ткани. Очевидно, это они оставили для себя: одежду и материал для швейной мастерской.

Первым из нашей группы, кому пришлось лечь в амбулаторию, оказался Цело, «треблинка» протекает у него довольно тяжело. Но Легаш решает в его пользу.

— Да-а, этот человек еще может быть нам полезен, — говорит он Рыбаку во время одного из «спецвизитов». Значит, понижение Роберта и отправка его обратно на сортировку медикаментов объяснялись все-таки настроением Кюттнера.

Унтершарфюрер Сухомел, до войны в тридцатые годы — портной, принадлежавший к немецкоязычному меньшинству в чешском Крумове, а здесь — jovialный шеф команды «золотых евреев», испытывающий «земляческую» симпатию к нескольким «славным ребятам из Богемии», попавшим в этот «польский сброд», присылает Цело из немецкой кухни суп и апельсин. Смотри-ка, апельсин — настоящий апельсин с толстой кожурой, еще не начал портиться, еще испускает аромат чудесного огромного мира.

Все здороваются с Цело, когда он в первый раз после болезни появляется на переключке и идет на работу — наш Цело.

— Нужно найти самый медленный темп, за который не наказывают «смертельными гонками». — Цело и его коллега, бригадир Адаш переходят от одного бокса к другому. Мы понимаем, так мы должны выиграть примерно 8 дней. Это — срок операции «Н». Роберт, который сейчас лежит в амбулатории, к тому времени будет в порядке. Критические дни болезни уже миновали.

К вечеру в «барак А» влетает Легавый, достигший степени кипения, достаточной для плавки чугуна. Он приказывает пересчитать все оставшиеся вещи, и тут выясняется, что в боксе «мужские пиджаки» всего 132 тюка вместо указанных 205. То есть не хватает 73 связок мужских пиджаков, по 10 штук в каждой. Не рассортирована еще небольшая кучка, примерно 20 штук. Кроме них, в Треблинке больше нет ни одного пиджака, ни одной артистической блузы.

Все мы в «бараке А» знаем, как это могло произойти. Хороших еще не «переработанных» пиджаков уже давно не было. Поэтому спекулировали отсортированными. Открывали уже отсортированные, перевязанные партии «товара» и об-

менивали их на дополнительную порцию хлеба, на несколько кусков сахара у кого-нибудь из мастерских внизу, из кухни. Когда куртка или пиджак, в котором ты ходил, пачкались или рвались, ты их просто бросал в кучу лохмотьев или в огонь. Кроме того, были в бараке и такие ребята, и их было много, которые как будто выполняли ожидаемую дневную норму, а на самом деле работали не так много. Они не могли иначе, их трясла лихорадка — «треблинка». Идиоты — они все время ждали новых эшелонов, новых поступлений, чтобы задним числом все привести в порядок. А тем временем перекладывали вещи из одной связки в другую, надувая при этом и Цело с Адашем.

Последний шелчок каблуками, гауптшарфюрер Кюттнер поднимает глаза от своего журнала:

— Так, оба бригадира «барака А», выйти из строя! — Внимание, это что-то новенькое, такого еще не было, все во мне бьет тревогу. — Это уж, знаете ли... Так как я вижу, что вся вина лежит на двух бригадирах... — Почему вдруг так торжественно? Если бы это был Лялька, но Легавый? — ...То в наказание они оба отправляются простыми рабочими во второй лагерь! — Во второй лагерь, в «лагерь смерти». Но там он для нас все равно что мертв, ему конец, нам конец, всей нашей затее, всему. — Снять повязки бригадиров, староста лагеря, уведи их!

Я стою среди самых высоких в предпоследнем ряду. Так, сейчас что-то должно произойти, надо закричать и броситься вперед, всем, — ну, тогда закричи и бросайся вперед первым, ну же, ну! В центр выступает Лялька и рычит, перекрикивая поднявшийся шум:

— Молчать! Это еще что за дебош?

К нему присоединяется Кюттнер:

— Первый лагерь! Смирно! Все, что напоминает мужской пиджак, — снять, сложить здесь! Справа налево, по очереди. — Он делает плеткой указательное и одновременно угрожающее движение, вторую руку он держит на кобуре. — Личный состав — семьсот тридцать четыре человека, тут в куче должны лежать семьсот тридцать четыре пиджака или куртки. И я вас предупреждаю, если у кого-то найду еще пиджак, тот будет иметь дело со мной, а потом, понятно, — в «лазарет».

Я сразу же иду в амбулаторию, забираюсь на нары и опускаюсь на колени рядом с Робертом. Он лежит на животе, в спертom, зловонном от множества температурающих тел воздухе, закрыв лицо исхудавшими руками, и его почти лысую маленькую голову сотрясают неудержимые рыдания. Старый Роберт, большой теоретик, сжался в маленький комочек.

В жилом бараке, на нарах, там, где недавно лежало одеяло Цело, — зияющая пустота. Со всех сторон я чувствую взгляды, направленные на меня:

— В лагере уже ходят слухи, что Легаш сослал Цело не просто из-за нескольких поношенных курток. Говорят, что Шиффнер, а он судетский немец и поэтому считается лучшим знатоком евреев из Богемии, вроде бы сказал, что Цело тут выше всех на голову. Не думаю, что они знают что-то наверняка, иначе они рассвирепели бы по-другому, они только подозревают... А может быть, Легаш, как опытный надсмотрщик, знает: нельзя допустить, чтобы возникли группы, людей надо все время перетасовывать. Если бы они узнали что-нибудь определенное, то отправили бы сразу в «лазарет». Но если они что-то разнюхали, то только с помощью кого-то из нас.

— Так нам и надо. — Ганс ворочается на своих нарах. — Я говорю о нас, не о польских евреях. Мы всё ждали, отговаривались тем и сем. Мы — ни на что не годные трусы, еще хуже, чем польские; те были такими всю жизнь — старьевщики, спекулянты и жулики. Но мы, мы же попали сюда как из Америки, мы все понимали, мы-то могли дать по морде, мы же были такими. Только слишком долго думали, слишком долго болтали, все подготавливали — и при этом перестали быть людьми. Мы стояли там сегодня, как бараны, мы больше ничего не стоим. Они уже всё из нас выбили.

У Ганса сейчас на щеках красные пятна, а лицо — бледное, видна каждая веснушка. Широко открытые глаза глядят куда-то вверх всего барака.

— Клянусь, мы больше не люди, я больше не уверен даже в себе самом, я только вижу все время мою старуху и мальчишку моего на той стороне — маленького курчавого мальчика. Когда он был еще совсем крошечным, у него бы-

ли такие милые щечки — особенно после купания. Мы еще помахали друг другу, когда они разделили нас на плацу. Он стоял там рядом с мамой и махал мне. Было видно, что ему немножко холодно после перегретого вагона. Я еще подумал, только бы он не простудился.

Ганс замолчал.

— В первый день, в первую ночь, когда мне сказали, что с ними произошло, это меня вообще не тронуло. Это не дошло до меня. Я бегал взад и вперед с ранцем на спине, и понял только, что они «там» — ну, они «там», а я — здесь, — и больше ничего. Только на следующее утро в груди, в горле, в мозгу появилось ужасное жжение, как будто там пролилось что-то едкое. А потом у меня был такой сумасшедший порыв — всё разом опрокинуть, как тот длинноволосый, который обрушил главную колонну, как нам рассказывали в хедере. Идиотизм, сказал я себе. Вначале ты должен взять себя в руки, собрать силы, привести мысли в порядок. И то же самое сказал себе каждый из нас, мы все время слишком много умничали, не только здесь в Треблинке, уже задолго до этого, когда все началось... Не загонят же они нас в гетто, как в средние века. Не оторвут же они нам голову, а если и оторвут, так одному, двум, но не всем. Всех они загнали в гетто, всем они оторвут головы, в конце концов и украинцам, которые сейчас им помогают. Разве здесь нужен ум? Здесь нужен такой длинноволосый безумец, который разрушил колонны, и здание обрушилось на всех.

## БАЛКАНСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

В боксе мы подбираем самые последние остатки. Часами мы ощупываем одно и то же пальто, выворачиваем его и крутим в разные стороны, делаем вид, что работаем. Эсэсовцы проходят мимо, не обращая на нас внимания, погруженные в свои мысли. Здесь ничего нет, нечего нас и подгонять. Постепенно работа в Треблинке заканчивается.

Из бокса дамских пальто к нам подходит маленький Авраам. В руке он держит помятую фотографию.

— Я нашел ее в одном из последних пальто. Она была спрятана в рукаве за манжетой. — Авраам протягивает фото

Давиду Брату, повернув его обратной стороной. Давиду можно дать 35, а можно и все 40, но его руки, в которых он сейчас держит изжеванную фотографию, выглядят как руки древнего старика. Бескровные пальцы все время судорожно скрючены, а суставы опухли.

— Для чего я мам отдачу своей молодежи в Трешлине под Малкину. — Давид разбирает надпись на польском, сделанную на обратной стороне фотографии и переводит нам: — Почему я должна отдать свою молодую жизнь в Трешлине под Малкиней?

— Давид, Давид, но ведь это означает, что эта девушка, что они там знали... Давид, они знали, куда их везут?

— Я вам уже говорил, и знали, и не знали. После того, что они делали с нами в гетто, мы могли догадываться. Тогда, в самом начале, несколькими ребятам удалось бежать из Трешлины и еще откуда-то. Они вернулись в свои гетто и там обо всем рассказали. Почему они вернулись туда? Ведь они знали, что оттуда их снова повезут на смерть? — Давид угадывает вопрос, который в этот момент всем нам приходит в голову, и отвечает на него: — Потому что они хотели предупредить нас и потому что они все равно нигде больше не могли спрятаться. Все поляки ненавидят немцев, но девять из десяти такие антисемиты, что, не задумываясь, выдадут любого еврея, особенно, если за это еще и платят. Я слышал про случаи, когда поляк спрятал в деревне одного еврея, а когда об этом узнали немцы, он вытащил из тайника ружье и отстреливался, пока его и еврея не взорвали вместе с хатой. Таких сегодня, после трех с половиной лет войны, наверно, больше не найдешь. Я знаю и про такие случаи, когда они прятали еврея: до полуночи они выманивали у него все деньги, а после полуночи шли в немецкую жандармерию, чтобы донести на него и получить деньги еще и от немцев. У вас это, наверно, не укладывается в голове, и то, что мы не верили тем, кто вернулись в гетто и рассказывали, что там видели. Но представьте себе, что вы двое, нет, не вы, двое других, пробираются назад к своим в Чехию и там все рассказывают. Вы двое слышите, может быть, не от них, а от кого-то другого, который это услышал от кого-то еще. Вы бы тоже не поверили...

Давид медленно переводит дыхание.

— Сейчас мы должны иначе рассказать миру и доказать всем, что мы не заслужили гибели в Треблинке, что ни один из нас, евреев, не заслужил Треблинки, — и это должны мы все, все, кто здесь есть... Вчера мы говорили об этом в столлярной мастерской. Там были Люблинк, Симка, люди из слесарной. Потом пришли еще Галевский и Хоронжицкий. Мы начинаем новую операцию, не операцию «Н», потому что не знаем, что скрывалось за отправкой Цело на «ту сторону». Мы все здесь должны... О трех доносчиках нам известно, и все-таки мы все должны — каждый должен...

На следующее утро, освещенное солнечными лучами, которые не могли прогнать из рабочих барачков пронизывающий все ночной холод, мы слышим с платформы непривычно легкие, ритмичные удары, которые неожиданно прерывает визг тормозов. Это — не обычные крытые вагоны. На открытых платформах стоят опрокидывающиеся вагонетки, лежат рельсы для одноколейки, навалены лопаты и заступы — всё новенькое-новенькое, будто только что с фабрики. Еще прежде, чем «синие» и «красные» начали разгружать вагоны, Мите и Бредо обходят «барак А», бокс за боксом, и отбирают людей. То же самое делают другие эсэсовцы в «бараке Б». Они очень быстро составляют новую рабочую колонну примерно из 60 человек. На сортировочном плацу к ним добавляются еще несколько. Эсэсовцы словно наэлектризованы, в дело снова идут плетки.

До обеда по всему сортировочному плацу проложены рельсы, а по ним катятся вагонетки. Одновременно по всему лагерю распространяется новость о том, что придумали эсэсовцы из-за отсутствия «настоящей» работы. Весь сортировочный плац, уходящий от «лазарета» под небольшим наклоном, как, впрочем, и весь лагерь, имеющий наклон в направлении комендатуры, должен быть выровнен.

Сразу после обеда приходят Лялька, Легавый и другие, уже без длинных пальто. Каждый раз, когда из-за облаков выглядывает солнце, козырьки их фуражек и сапоги поблескивают. Через дверь барака, куда сквозь щели проникают лучи света, в которых клубится пыль, мы наблюдаем за всем, что происходит вокруг вагонеток. Первым вступает Лялька.

Он выбирает себе одного еврея, который неуклюже управляется с лопатой, и тут же отвешивает ему 25 ударов плеткой по спине.

Тем временем уже и Легавый выбрал себе жертву и, на пару с Зеппом-Хиртмайером, бьет плеткой по спине стоящего на коленях, как кузнецы бьют по очереди по наковальне. Потом следуют удары по голове, по лицу, темп работы остальных повышается, в мгновение ока вагонетки наполняются, едут вниз, там опрокидываются, их бегом катят снова наверх, туда-сюда, все быстрее — давай, давай, все время бегом!

— Концентрационный лагерь, обычный концлагерь, лагерь для принудительных работ, там все выглядит примерно так. — Карл провожает этим громким комментарием эсэсовцев, покидающих сцену. — Им пока достаточно. Теперь они идут вниз на полдник, надо же подкрепиться.

Минута передышки, можно расслабиться. Люди утирают лица. А затем по стаду вновь быстро распространяется ужас: откуда-то издали приближаются хищники. Лопаты торопливо перекидывают землю. Бригадиры и капо кричат, Лялька со всей свитой появляется на сцене.

Во время вечерней переклички сразу видно тех, кто работал на вагонетках и тележках. Покрасневшие, загнанные лица. Одежда и сапоги — серые от пыли и песка; непривычная картина для Треблинки — раньше весь наличный состав, кроме бригады «маскировки», выстраивался в тайком начищенных сапогах и чистой одежде. Концентрационный лагерь, заурядный концлагерь. А история с тем, которого Лялька после перерыва на кофе убил заступом, тоже обычна для концлагеря?

Из соседнего барака «предварительной сортировки» приходит Ганс. Они назначили его бригадиром вместо Цело. Просто так, за высокий рост, а может быть, и за его «пражский немецкий». Разъяренный и одновременно задумчивый, он ударяет себя самого плеткой по спине. Один из его ребят прошмыгивает мимо, маленький, с глуповатым выражением. Ганс резко поворачивается и останавливает его:

— Иди, иди сюда — тутей — я сказал! — Он притягивает мальчишку к себе и покровительственно склоняется к



нему. Ой, мальчишка и впрямь боится Ганса. — Ты куда идешь?

— Я спрятал в мешке у моего гавера, — он улыбается и отвечает на идиш, — у моего товарища кусок хлеба.

— Ага, а теперь ты хочешь выйти, не так ли? — Ганс кивает, добродушно, но и немного насмешливо. Мальчишка повторяет свой ответ еще раз, теперь по-польски. — Та-ак, у тебя есть еще порция хлеба, у товарища, гм, ты отдал ему на сохранение, гм. — Парень кивает при каждом слове. — А теперь идешь ее забрать, гм.

Ганс делает паузу, а потом продолжает добродушным, насмешливым тоном:

— Значит, так. Во-первых, у тебя больше нет хлеба, потому что ты его сожрал, как только взял в руки. Не перебивай, дай мне сказать до конца. Сожрал тут же, как получил, так же, как и я. — Ганс отгибает большой палец, потом указательный. — Во-вторых, ты бы не дал хлеб своему дружку на сохранение, даже если бы они тебя за это кастрировали, потому что ты точно знаешь, он бы его съел. И в-третьих, но об этом даже не хочется говорить, — Ганс словно ведет горький разговор с самим собой, а малыш смотрит на него, не сообщая или, наоборот, понимая слишком хорошо, — если ты был настолько глуп и доверил ему свой хлеб, то он его уже давно умял. Так, а теперь я тебе скажу, куда ты идешь. Ты идешь проверить какое-нибудь дельце, что-нибудь толкнуть с твоим гавером, с твоим приятелем, скрутить папиросу или еще что-нибудь. — Ганс делает движение пальцами, словно он скручивает самокрутку, и неожиданно кричит: — И ты не можешь сказать мне правду? Тебе надо и мне врать? Я что, ну, вроде капо Фрица из соседнего «барака Б», которому следует отдавать часть от всякой мелочи, какую удастся выменять? И вообще, марш за работу! Если только можно сказать, что ты работаешь!

— Гонза, Гонза — Ганс, не дури! — предостерегает Карл. Ганс дает мальчишке пинка, чтобы тот ушел. Подходит Давид, и я слышу, как он шепчет:

— Если бы ты родился во время или сразу после погрома, когда все вокруг твоей мамы рушится и горит, ты тоже был бы таким. Ты бы даже не понимал, когда ты говоришь

правду, а когда — ложь. И в тебе с того самого момента сидел бы идише мойре — страх. — Светло-голубые глаза Да-вида становятся огромными, и снова обнажаются передние зубы. — Вот от этой идише мойре — от еврейского страха — нам и надо освободиться.

На какое-то время наступает полная тишина.

— Там на той стороне тоже работают с тележками. Только они перевозят не песок.

— Они сейчас выкапывают первые эшелоны.

— Но тогда им приходится собирать все в шапки, ведь трупы наверняка уже распались.

— И они их сжигают. — Давид втягивает носом воздух. — Чувствуете запах или мне кажется?

Боксы готовой одежды выметены начисто. Нас, последних 15 человек из «барака А», выводят к большой куче шлака в нижнем конце платформы, сразу у ворот. Оттуда мы должны переносить шлак в «барак А», посыпать пол в боксах и в проходе, проще сказать, везде и утрамбовать. Из той же кучи берут шлак «синие» и «красные» и засыпают им всю «вокзальную площадь».

Эсэсовцы снова потеряли всякий интерес к работе. Они почти не обращают внимания на людей, перетаскивающих вагонетки. Лопаты начинают перекидывать песок и шлак медленнее. Все расслабились, некоторые стоят, опершись на лопаты. Время от времени кто-то толкает вагонетку вниз, потом она снова медленно ползет вверх, а за ней плетутся люди.

В двух боксах «барака А», где мы могли бы управиться с засыпкой и утрамбовкой пола за полтора часа, мы возимся уже второй день.

— Смирно, — раздается от двери, и через барак проходит Лялька. Он даже не говорит, как обычно, «продолжайте», а оставляет гротескные фигуры с выпученными от голода и слабости глазами стоять смирно. Он останавливается недалеко от нас, скользит оценивающим взглядом по пустым боксам, ненадолго задерживает взгляд на нас, потом отводит глаза в сторону и произносит официально и торжественно в пустоту барака: — Итак, с завтрашнего дня снова начнут по-

ступать эшелоны, снова начнется работа. — Он кивает самому себе и исчезает в проеме двери.

— Ганс, бригадир Ганс! — кричит какой-то голос из соседнего барака предварительной сортировки.

Ганс вылетает, через некоторое время он несется назад, роняет по дороге плетку, поднимает ее и останавливается, только почти упав на наш стол, который мы только что поставили на влажный и утрамбованный шлак.

— Никаких эшелонов из Польши, все издалека. Мне это Легавый сказал. Я должен все идеально подготовить. Завтра ожидают два больших эшелона из-за границы.

Остаток дня почти никто не прикасается к работе. По сортировочному плацу медленно прогуливаются эсэсовцы, по двое или группами, тихо беседуя, словно они не видят спорящих людей у вагонеток. Весь лагерь лихорадит в беспокойном ожидании.

Возбуждение от сообщения о заграничных эшелонах достигает высшей точки вечером в бараке.

— Интересно, откуда — вероятнее всего, из Терезина. Кто у тебя еще там из родных? А, ты был там не так долго, вот я, я знаю там всех. Если кого увижу, могу подбежать к Сухомелу и сказать ему, чтобы он оставил кого-нибудь, это, дескать, мой брат.

— И сослужишь ему отличную службу, особенно если он будет с женой и ребенком. А что, если твоих знакомых там будет пятнадцать, двадцать человек?

— Неужели ничего нельзя сделать, если придет такой эшелон?

— Мы ничего не сделали раньше, а ты хочешь сейчас? Сейчас, когда мы все голодные, как бродячие собаки? Погляди вокруг себя. Я хотел бы заглянуть большинству вот сюда, — Роберт показывает себе на грудь, — думают ли они о людях, которые приедут завтра, или о жратве, которую те привезут с собой.

— Послушай, а откуда ты все так хорошо знаешь? — спрашивает Ганс скорее растерянно. — От кого?..

На утренней перекличке мы получаем строгий приказ, чтобы никто не смел уходить со своего рабочего места в бараке. Они прогоняют даже людей с сортировочного плаца и

распределяют их по рабочим баракам. Примерно через полчаса после этого прибывают первые вагоны.

На этот раз я наблюдаю за перроном через щель в досках, стоя в пустом боксе. Товарные вагоны, вагоны для скота — значит, все-таки польский эшелон, а может, русский. Люди спокойно выходят из вагонов, без толкотни, без суеты. Видно, что они проделали долгий путь. Вероятно, они побывали и в карантине. Их одежда и вещи помяты, испачканы, но это — хорошая одежда, дорогие вещи. Их лица выглядят здоровыми и имеют непривычно коричневый цвет. Черные волосы, я вижу сплошь черные, как смоль, волосы. У большинства на левой стороне на отвороте пальто — маленькая желтая звезда. Такой я еще никогда не видел — подожду, пока несколько человек пройдут мимо. Звезда совсем маленькая, без надписи, с черной каймой. Теперь я вижу, что она прикреплена как брошь. Не из ткани, из какого-то другого материала, кажется из дерева. Я слышу, что они говорят на совершенно незнакомом языке.

— Дай посмотреть! — Давид Брат подпрыгивает, прижимает лицо вплотную к доскам и пытается окликнуть сквозь шум на перроне кого-нибудь из пробегающих мимо «сидящих»: — Моник, послушай, Моник!.. Митек!.. Эй, Куба, откуда?

— Болгария, Балканы, — слышим мы ответ через дощатую стену. В застывшую тишину, про которую никто не знает, как долго она продолжалась, падают первые слова, это снова Давид:

— Смотрите, вон они уже бегут, раздетые, — он показывает на сортировочный плац.

Среди раздетых тел выделяется черно-зеленая форма Легавого. Он бежит первым, кричит что-то вроде «хейя-хейя», все время оборачивается и ведет всю процессию раздетых людей в сопровождении остальных эсэсовцев и охранников прямо к бараку предварительной сортировки, что рядом с нами. Он показывает им, где они должны сложить одежду, где пальто, где нижнее белье — все отдельно. Потом он ведет их бегом назад, и вот обнаженные люди появляются снова, на этот раз с ботинками в руках, они бегут в направлении «галантерейного барака» — «барака Б».

Я не мог предположить ничего подобного под разорванной одеждой. Мускулистые тела слегка дрожат на холоде пасмурного облачного дня. Густые волосы, широкие плечи, прекрасно сложенные фигуры. Мимо пробегает молодой статный мужчина со смуглой кожей, развеивается грива черных волос, профиль, словно высеченный на камне. Вот приближаются два юноши, им не больше восемнадцати. За ними — пожилой мужчина с поседевшей бородой, гордая осанка, хорошо развитая грудная клетка, под кожей перекачиваются мускулы. Этих троих я уже где-то видел — эти трое, со стариком, это — Лаокоон и его сыновья из легендарной Трои, завоеванной греками, я знаю их по учебникам и по картинам, висевшим в школьных коридорах. А мимо уже бегут другие.

— Глядите-ка, — кричит Карл в удивлении. — На плацу не осталось ничего. Им приказали все отнести прямо к баракам и, собственно, предварительно отсортировать. И ни одного удара, ни одного взмаха плеткой. Они вообще ни о чем не догадываются. — Движением головы он указывает на одного из эсэсовцев. — Они это подготовили, организовали. Вот почему никому из нас нельзя выходить из бараков...

На сортировочном плацу стоят брошенные, покрытые пылью вагонетки. Одна тачка так и осталась опрокинутой над маленькой горкой песка. Никто ее не перевернул, когда вчера разнеслась новость об эшелоне. Теперь на долю этих тачек случайно выпала странная задача. Они успокаивают статных обнаженных людей, они без слов говорят им: не бойтесь — видите, здесь работают, это — совершенно обычный рабочий лагерь, здесь вы будете работать.

Последние обнаженные фигуры исчезают за углом около вала, позади боковых ворот к плацу-раздевалке, откуда они выбегали с одеждой в руках, и сразу же за ними закрывается зеленая стена.

— Так, а теперь, как следует запыхавшись от бега, прямо по «трубе» в душевую, — комментирует Ганс. — Болгария, Греция — если так пойдет и дальше, то скоро они привезут сюда и евреев из Палестины...

— Всем выйти на перрон, разгружать вагоны! — В двери появляется Легавый, в уголках рта у него застыла слюна.

Я вместе с остальными выбегаю из барака. По дороге мы сталкиваемся с людьми, которые уже тащат багаж и при этом незаметно, не открывая рта, двигают челюстями — уже что-то жуют. Да, они уже набили рты, и их лица совершенно изменились, просветлели.

Когда я прохожу через главные ворота, моему взору неожиданно открывается огромная, ослепительная сцена. Мечта, назойливая, неотвязчивая мечта постоянно голодающего узника Треблинки становится явью здесь на перроне. Но нет, нет, — о таком никто и мечтать не мог, этого никто не мог себе представить даже в самых голодных фантазиях: только половина вагонов была занята людьми. Вторая половина полностью завалена коробками, чемоданами, саквояжами, большими баулами из сшитых одеял. «Синие» тащат вниз на склад коробки с джемом. Кто-то сталкивается с ними, одна коробка падает, разваливается на земле — ну, они немножко ей помогли, — и они падают, счастливые и пьяные от радости, в темно-красную клейкую массу. Они медленно поднимаются, глотают с закрытыми ртами, и вот уже над ними свистят плетки, пока в темно-красную смесь на земле не начинает капать светло-красная кровь с лиц.

Мясо, огромные куски сушеного беловатого мяса лежат на перроне, выпадают из вагонов и еще несколько тугих мешков, разрывающихся при падении. Несметное количество мелких желтых печеньиц вываливается на черную землю, и мы их топчем, бегая взад и вперед. Они желтовато-белой крошкой покрывают лежащий вокруг багаж, кожаные чемоданы, лужицы джема, брошенные подушки с чудесными вышивками. Я уже второй раз возвращаюсь на перрон, сразу же набив полный рот толстенькими золотисто-желтыми печеньицами — восхитительное чувство, блаженство, когда проглотишь. Лицо расслабляется — да, теперь, наверное, и у меня такое же странное счастливое выражение лица, как у первых вернувшихся с перрона.

При взгляде на изобилие продуктов и вещей, которое раскинулось перед истощенными от голода людьми, первую часть Треблинки охватывает лихорадочная деятельность. А вторую часть, «лагерь смерти»? Там, на той стороне, они по-

лучат от всего этого только голые тела, а говорят, такие мускулистые тела горят хуже всех других.

Вся беготня продолжалась 15, может быть, 20 минут, и вот уже все окончено. Мы снова в наших боксах. Пустые вагоны медленно выезжают из лагеря. Новый свисток, въезжает следующая часть состава. Маленький Авраам прибегает с перрона, роняет то, что принес; руки у него все еще растопырены, он сообщает изумленно, почти плача:

— Теперь снова сыр, огромное количество сыра, круги, как мельничные жернова...

В обеденный перерыв суповые миски, составленные под деревьями у кухни и вдоль стены барака, остаются почти не тронутыми. Некоторые опрокидываются, слышен смех, а из кухни выносят котел, полный жидкого пустого супа, — выливать в сортир.

Прежде чем во второй половине дня поступают следующие партии, мы уже частично заполнили наш бокс пальто. Где унтершарфюрер Шифнер с его сигаретами за подходящее пальто? Карманы каждого из поступивших пальто полны пачками сигарет самых разных сортов.

— Не, человеку — нет, приятель, теперь я курю только первый сорт, — невысокий бригадир барака предварительной сортировки с лицом, как у утки, а голосом, как у мортиры, показывает одному из своих людей, что он хочет только пачки сигарет с римской цифрой I — первый сорт, перши гатунек.

— Да, да, так, так, теперь для нас только первый сорт — перши гатунек. Ведь из всех евреев они выбрали и выдрессировали именно нас, мы сами — первый сорт. — Понимает ли невысокий бригадир богемский выговор своего коллеги Ганса Фройнда?

Нас посылают в барак предварительной сортировки, чтобы сложить вещи и освободить место. И «спекуляция» начинает работать на полных оборотах.

— Если ты найдешь что-нибудь особенное выпить или сигареты — отложи это для меня где-нибудь в сторонке, да, и дамские вещи, и приготовьте посылку для Цело. Еду, белье, крем для обуви — я потом прихвачу, вам от него привет. — Небрежно элегантно, старающийся поддерживать

себя в хорошей форме, обершарфюрер Карл Людвиг, светловолосый тип среднего возраста и средней потрепанности, заглянул к нам на «ярмарку» с «той стороны», из «лагеря смерти», чтобы раздобыть что-нибудь для себя, пока еще не все разобрали. В качестве ответной услуги он приносит первую, совершенно неожиданную весточку от Цело, да к тому же предлагает оказать ему любезность.

Бредо замечает мимоходом, что ему хотелось бы какой-нибудь чемодан из кожи первого сорта и, если есть, что-нибудь вроде одеколona или духов.

— А в остальном можете делать здесь, что хотите, — роняет Бредо как шеф этого рабочего места. — Только чтобы не заметил гауптшарфюрер — то есть Легаш-Кюттнер.

— И обершарфюрер Франц, — добавляют Гентц и Зайдель, словно бы для себя, а не для нас, заканчивая свою просьбу. Они хотели бы бритвенные принадлежности.

Яволь, господин шаррфирра, господин начальник, как замечательно мы стали понимать друг друга. Только Лялька, Легавый, «дер крумме коп» Мите, два-три простофили вроде Бёлитца, которые стараются выслужиться, и, само собой разумеется, Штангль, комендант всего лагеря, не дадут нам по рукам, если поймают на спекуляции, — они возьмут нас за горло. Но зато эти, которые не относятся (или больше не относятся) ко всему так по-военному строго, теперь нас немножко покрывают.

Из всего эшелона они отобрали троих. Мы издали не заметно рассматриваем их, когда в наступающих сумерках они, обессиленные, прислонившись в соннам перед кухней, пьют горячий эрзац-кофе из кружек. Кто-то из наших замечает вскользь:

— Этих они отобрали не для работы. Они годятся разве что для музея — в Треблинке теперь будет музей.

Все трое уже пожилые. Двое — учителя, третий — раввин. Они были руководителями эшелона. Они понимают немецкий, чуть-чуть, совсем немного. Это они переводили остальным, что всё будет продезинфицировано, что все должны пройти в душ для дезинфекции, а потом на работу. И как эти трое стояли в стороне, так их и оставили. О неприятном запахе, который они чувствовали в суматохе, они



подумали, что это от извести или от какого-то еще дезинфицирующего средства. Собственно, они и сейчас знают не больше того.

Хотя Карл и говорит по-немецки, его восточноморавский немецкий действует на них так, что они начинают говорить с ним, как со своим.

— Откуда вы? У вас есть гетто?

Спрошенный качает головой:

— Гетто у нас нет. Мы из накопительного лагеря в Салониках... были.

— Вы знали, куда вы едете?

— Нам сказали, мы едем в Польшу, как раз в новое гетто, к нашим... Мы с полгода жили в лагере в Салониках. Там собрали евреев из Болгарии, Греции, Югославии... Там нас было, наверно, двадцать четыре тысячи... То, что здесь... — в самых страшных снах...

— А в лагере в Салониках?

— Там было не так плохо. Мы могли покупать, что нам было нужно. Многие вещи у нас были общими, мы вели общее хозяйство.

Это было понятно по тому, что они привезли с собой и как они это привезли. Больше мы к ним не приставали. Мне кажется, их отсутствующие глаза были обращены внутрь.

Пьяные крики невидимого в темноте украинского охранника где-то недалеко от забора из колючей проволоки переходят в протяжную мелодию:

— Под вечер мы гуляли, Наташа целовала мене...

Шум в бараке совсем другой, чем вчера вечером. Веселые крики. Смех, повсюду удовлетворенные лица, сытые, разгоряченные, блестящие от пота и жира. Вон кто-то ест ложкой сливовый мусс с печеньем. Рядом видна только рука, держащая кусок кукурузного хлеба с сыром. Двумя койками дальше при неожиданно вспыхнувшей свече я успеваю увидеть, как из расстегнутых брюк выкатывается блестящая овальная банка рыбных консервов.

— Господи, да прекратите же, наконец, жрать! — с криком приподнимается Ганс и наклоняется к противоположным нарам. Я тоже уже давно не могу отвести глаз от тех

двоих, на которых он кричит. Они без конца сыплют себе в рот жареные зерна кукурузы с сахаром.

— Цо те то обходи, Хонзо — какое тебе дело, Ганс? — отвечают оттуда по-польски.

— Мне есть дело, даже очень, больше не могу видеть, как вы уже целый час жрете.

— Ну, ты же в Треблинке, — обычное присловье.

— Йезус Мария, но нельзя же, как скоты. — На щеках у Ганса появляются красные пятна.

— Йезус Мария, — кто-то насмешливо передразнивает Ганса. — Это что за аид? Как он попал в Треблинку?

Присоединяются и другие голоса:

— Да-да, это тебе не кто-нибудь — интеллигентный чех: он делает то же самое, но интеллигентно.

Прежде чем мы успеваем помешать, Ганс уже висит в проходе между нарами, одной рукой он держится за балку, в другой руке у него плетка, он бьет ею в пустоту:

— Вы — сброд, мерзкий, польский сброд! Если вы уж так хотите знать, я ненавижу вас, так же, как я ненавижу их, за все ваши махинации, вранье...

Мы втягиваем Ганса обратно на нары, так что дальше он кричит уже на нас:

— Он был прав, этот Франц: разгребать собственное дерьмо, только и способны возиться в собственном дерьме...

— Еврей-антисемит, он заодно с немцами, — последнее слово остается за поляками.

Роберт протягивает Гансу, который полусидит, полулежит, градусник, оттягивает нижнее веко и обследует глазной белок:

— Да, да, и его достала «треблинка»! И она у него развивается как-то очень быстро.

Еще четыре дня на перрон приходят нагруженные вагоны и уезжают пустыми. Идут женщины с детьми, они исчезают в бараке на плацу-раздевалке. Статные коричневые мужские тела бегут рысью по пустому сортировочному плацу мимо брошенных вагонеток, а потом так же рысью убегают в вечность — болгары, греки, югославы.

Мы с Карлом передвигаемся теперь только на 30 метров — между нашим боксом и бараксом предварительной

сортировки. Здесь опять душно от одежды, еще хранящей человеческое тепло. Наши собственные тела разогреты маслом от рыбных консервов, крепкими напитками и тому подобным.

У Бредо, Шиффнера, Зайделя и некоторых других уже по нескольку чемоданов, наполненных разными вещами, которые они протаскивали вниз в свои бараки. Гентц, всегда немного по-детски удивленный и веселый, сам отобрал себе два кожаных чемодана прямо на перроне, когда пришла очередная часть эшелона. Но когда он уже собрался незаметно взять их, появился Легавый-Кюттнер. Гентц, не потерявший присутствия духа, сунул чемоданы в руки одному из «синих» и плеткой погнал его вокруг барака. Удары он скорее обозначал, и «синий», кажется, это понял.

— Ой, ой-ёй-ёй, вей мир, господин начальник...

Это продолжалось до тех пор, пока Легаш не ушел. Тогда Гентц указал парню с чемоданом на угол в одном из боксов, вывалил содержимое, взял себе коньяк, сигареты, а все остальное оставил в боксе. Затем он направился к боксу «дамское белье», где снова наполнил один из чемоданов.

На пятый день все кончилось, как отрезало: ни свистков, ни эшелонов. Сквозь проем двери «барака А» я вижу на валу одинокую фигуру — гауптштурмфюрер Штангль в белом кителе. Руки заложены за спину, легкие взмахи стека. Он смотрит вниз на ту сторону. Оттуда поднимается светлый дым и растворяется в прохладе и свежести раннего утра. Позднее, когда встает солнце, весенний мартовский воздух наполняется испарениями и сладковатой вонью.

Все бараки и помещения для предварительной сортировки наполнены до потолков. Легавый снова начинает свирепствовать и подгонять нас. Его неистовая травля заражает остальных. Меньше чем за две недели все рассортировано, увязано, упаковано. Приходят пустые вагоны, и начинается уж и вовсе бешеная гонка. Длинная цепочка фигур с тюками безостановочно двигается целыми днями — все время бегом — между платформой и рабочими бараками. Всё новые вагоны приходят пустыми и уходят нагруженными. Однажды мы снова оказываемся в тихом бараке с опустевшими боксами, роемся в кучке оставших-

ся лохмотьев и иногда выглядываем наружу, где вновь начинается работа с тачками и вагонетками. Вилли и Зало, оба из бригады «золотых евреев», как раз совершают свой дежурный обход с чемоданчиками. Из ящичков, прикрепленных у боксов, они забирают последние болгарские левы, сербские динары, греческие драхмы, которые здесь вообще не ценятся. Золотые луидоры, появившиеся с этими эшелонами, исчезли так же, как раньше исчезали золотые доллары и рубли.

Маленький Вилли Фюрст, владелец гостиницы в Моравской Острове, самый информированный из всех нас, «терезинцев». Почти все время он сидит внизу в «большой кассе», и все передвижения эсэсовцев происходят у него перед глазами. В окно он может наблюдать за перемещениями перед баракком эсэсовцев и перед комендатурой. В самой «кассе» он много чего слышит, потому что там постоянно задерживается кто-нибудь из *них*, особенно чином повыше. Кажется, что среди 12 членов бригады «золотых евреев» Вилли всегда играет второстепенную роль: немного ироничный и услужливый, глуповато-серьезный и циничный, отстраненный, как банковский служащий, которого направили сюда для консультации. Даже нам иногда трудно понять, в каком количестве разных тональностей Вилли играет одновременно. Черные глаза, кустистые брови, щеточки усов и вся его округлая фигура — всё участвует в игре. Это очень нравится Францу; а вот Кютгнер не чувствует таких тонкостей. Зало Зауер, помоложе и повнушительнее, иногда прямо-таки мрачен и неразговорчив. Иначе они с Вилли и не смогли бы образовать такую сыгранную пару. Они неразлучны, как я с Карлом, нет, по-другому, но тоже неразлучны: у них общие одеяла, ложки и мысли. От Вилли мы узнаем, что господа чрезвычайно довольны балканскими эшелонами. Столько материала не принес ни один из предыдущих эшелонов. Но в отношении денег и драгоценностей он оказался беднее. Тут польские эшелоны держат первое место, хотя они и вшивые.

— И правда, они здорово нас выдрессировали. Раньше, когда приходил эшелон, мы никак не могли справиться с горами вещей. Теперь, не прошло и трех недель, а все выгля-

дит так, словно эти двадцать четыре тысячи сюда и не привозили. Теперь мы положим еще немного в «большую кассу». Вероятно, на следующей неделе они отправят часть денег и золота в Люблин. Не бойтесь, — Вилли меняет тон, — всё они не заберут. Что-нибудь оставят здесь, на всякий случай. Мы ведь понимаем друг друга.

— А вы внизу можете хоть примерно прикинуть, сколько денег уже прошло через ваши руки?

— Где там. Совершенно невозможно. Ты что, думаешь, мы указываем верные суммы? Предположим, что при всех спекуляциях и гешефтах треть всех денег оседает у нас в кассе. Ими потом спекулируем и мы, и наши начальники. Мы тоже зарываем и прячем деньги, золото, украшения, как и вы тут наверху. Нас в бригаде двенадцать, и каждый спекулирует, у каждого есть кто-то в жилом бараке, кто приносит ему еду. А ребята из СС, они ведь приходят сюда к вам, словно в универмаг, а к нам, словно в банк. Никто из них, ни наш шеф Сухомел, ни высшие чины не заинтересованы в слишком большом порядке и точности. Вот если бы все это однажды стало известно командованию в Люблине, а еще лучше в Берлине. Недавно Кюттнер и Франц чуть было не подрались. Я видел в окно, как они столкнулись на улице. Кюттнер, совершенно вне себя, кричал, что все это — безобразия и свинство, что он поедет в Берлин и там обо всем доложит. Оказывается, Франц тоже спекулирует, но никто точно не знает, как он это делает. Правда, сейчас, когда мы снова кое-что проворачиваем, я бы не хотел, чтобы там, совсем наверху, что-нибудь узнали о денежных махинациях. Нас они тогда перетасуют, ребят из СС заменят. Придут новые, алчные, еще не нажравшиеся досыта...

Вилли еще раз меняет тон и, уходя, говорит:

— Нужно построить наше дело по образцу их собственной организации. Вот как у них есть бригады с капо и бригадирами. А за некоторыми опасными местами придется смотреть особо. — В сопровождении Зало Вилли пускается в путь по проходу между боксами, размахивает чемоданчиком и выкрикивает, как зазывала на ярмарке: — Деньги, золото, драгоценные камни, всевозможные украшения...

## РАСКРАШЕННЫЕ ВСАДНИКИ АНТИХРИСТА...

Вечерами мы снова часто ходим в мастерские на тайные собрания. Вначале речь идет о том, чтобы в каждой бригаде было несколько надежных людей, которые обрабатывали бы каждого в отдельности и организовывали всю бригаду в боевую группу. Особая роль отводится Капо Раковскому, особенно теперь, потому что староста лагеря Галевский лежит в амбулатории с «треблинкой», и тиф протекает у него достаточно тяжело.

О Раковском известно, что он в Треблинке — одиночка, но сильный, ему никто не нужен. Он ни с кем не сошелся близко, никто не знает наверняка, думает ли Раковский на самом деле то, что он только что сказал. Он — самый рискованный спекулянт из всех, обжора, пьяница, крикун. И всё только для себя, всё в одиночку. Если его однажды поймают, ему придется не сладко. Но нет, они и не хотят его ловить. Если бы хотели, уже давно могли бы это сделать. Но пока он их устраивает. Охранники от него в восторге, потому что он такой огромный и умеет так громко орать. Говорят, ему все достают, они все время делают с ним гешефт. Говорят, в его огромных, словно надутых брюках всегда есть кусок сала, бутылочка водки и несколько банкнот. Его ребятам пришлось, наверное, как следует поискать, пока они не нашли подходящие брюки, в которые влезла его мощные ляжки. Еще одна своеобразная черточка: эти две ляжки внизу переходят в тощие Х-образные икры.

Но раз уж Раковский в таких приятельских отношениях с охранниками, то не мог бы он выяснить, как они повели бы себя в том или ином случае? Не мог бы он им намекнуть, что «германцы» близки к поражению и проиграют? Некоторые бригады, которые работали за пределами лагеря, с помощью охранников выменяли даже газеты. Там можно вычитать между строк кое-что обнадеживающее. А некоторые эсэсовцы задумчиво бродят по лагерю и часто бормочут себе под нос: «Дерьмо, всё дерьмо».

И если уж у Раковского так здорово получается выменивать у охранников все, что угодно, то, может, он достанет и пистолет, вообще какое-нибудь оружие, разумеется, за кучу денег, золота, украшений. Это все можно где-нибудь зако-

пать, а потом, когда будут деньги, много денег, можно будет проскользнуть через все, чем бы дело ни кончилось. Собственно говоря, сейчас для Раковского наступил самый подходящий момент показать, на что он способен, после того как они назначили его заместителем заболевшего старосты Галевского.

Вот только как к нему подойти, кто может с ним сблизиться? А, один такой есть, то есть одна — женщина, к которой Раковский прислушивается, Циля, эта здоровая крестьянка, как выразился наш Ганс. Она работает на немецкой кухне, и для немногих девушек, работающих здесь, она примерно то же, чем для нас был Цело.

На передний план приготовлений к общему делу выдвигается сейчас, когда еще не ясно, что будет с Галевским, еще и доктор Хоранжицкий. Они отобрали его из польского эшелона, чтобы он работал в немецкой амбулатории, в стоматологическом кабинете. Его редко можно видеть. Он передвигается только вниз, между «гетто» и своим рабочим местом напротив «большой кассы». У него увядшее лицо, и вся его фигура какая-то пожилая, невыразительная, незначительная. Лучше и менее рискованно, чтобы деньги из «большой кассы» выносил он, чем сами «золотые евреи».

После полудня солнце уже греет. Когда в обеденный перерыв мы приближаемся к кухне, то видим, как четыре охранника тащат от эсэсовского барака что-то покрытое кровью. Только руки и ноги, за которые они волочат это что-то, позволяют предположить, что это — человек.

«Доктор Хоранжицкий» — проносится по толпе. Еще прежде чем мы выстояли очередь за мисками и опустошили их, становится известно, что произошло. Сегодня утром Лялька влетел в немецкую амбулаторию и потребовал у Хоранжицкого, который там был один, какое-то лекарство. Словно что-то учуяв, он вдруг захотел узнать, что находится в больших карманах Хоранжицкого. И нашел там 150000 злотых и еще несколько долларов, вероятно в большой спешке просто засунутых в карман. Хоранжицкий бросился на Франца. Тот, моложе и на целую голову выше, в коротком бою одолел доктора. Хоранжицкому еще удалось освободиться и выбежать, но тут его поймали подоспевшие эсэсов-

цы и сбили с ног. Экстренная переключка сразу после обеда, эсэсовцев больше, чем обычно, и они в повышенной боевой готовности. Слово имеет Лялька, уже снова вычищенный и принарядившийся для этого спектакля.

— Вот, вот, — он показывает плеткой на кровавый комок на земле. Покрытое шлаком, тело полностью теряется в разодранных кусках одежды. — Вот, смотрите, что будет, если кто-то из вас сойдет с ума и нападет на одного из нас. — Лялька делает несколько шагов вперед и обводит выпученными глазами ряды. — Я хочу знать, откуда у него деньги, да еще так много! Он все время работал внизу, сам найти денег он не мог. Я хочу знать, как он получил деньги...

Два охранника выливают на то, что было доктором, два ведра воды, и, когда тело начинает немного двигаться, два других приносят козлы. Это у Ляльки самый новый реквизит, он лично заказал его в столярной мастерской, чтобы торжественно производить на них наказания при общей переключке: 25, 50 ударов по одетым и по обнаженным спинам. Они укладывают сжавшееся в комочек тело на козлы. Спереди его держат за руки, потому что, когда Лялька бьет, центр тяжести всегда приходится на заднюю часть. Примерно после пятнадцатого удара тело неожиданно дергается, обмякает и становится неподвижным. Удары глухо падают на него, словно на полупустой мешок: 30, 31... Франц бьет уже не так обдуманно и искусно, плетка уже не взлетает над головой в таком бравом ритме. Обвисшее на козлах тело поглощает удары, вместо того чтобы реагировать на них. 49, 50 — при последних ударах Лялька несколько раз теряет равновесие и покачивается.

— Все. Отнести в «лазарет» и расстрелять!

Итак, этот спектакль тебе не удался. Жертва раньше времени выскользнула из твоих рук, и тебе пришлось продолжать игру без партнера. Мы уже слишком давно в Треблинке, чтобы на расстоянии понять, когда человек «готов». Лялька одергивает форму, поправляет ремень:

— Этот паршивый еврей получал деньги, наверное... да, от «золотых евреев»! Я хочу видеть «золотых евреев»! Сюда! Построиться! Друг за другом!

Ближе к вечеру по «бараку А» разносится:



— Деньги, золото, всевозможные украшения — всё сдать самым честным «золотым евреям»! — После допроса на козлах Вилли передвигается, широко расставляя ноги. — Это было внизу, а там, наверху, был произведен допрос высшей степени. Всех раздели донага и выстроили в ряд над ямой в лазарете. Он допрашивал каждого и при этом еще щекотал пистолетом: кто из нас давал деньги Хоронжицкому, для чего, кто еще прятал деньги...

— Вдруг начало казаться, — присоединяется Зало, — что для всех нас дело может кончиться только «лазаретом». А еще было такое впечатление, что остальные парни из СС держатся на заднем плане, предоставляя Ляльке солировать, а заодно и нести полную ответственность перед Штанглем, комендантом лагеря, за уничтожение всей бригады специалистов. Как иначе можно объяснить, что он нас всех все-таки отпустил?

— Молодец Хоронжицкий. Действительно они его забили насмерть или ему удалось что-то проглотить, как поговаривают некоторые? Во всяком случае, похоже, что у них тут есть еще работа, даже если эшелонов больше не будет. Лагерь они хотят сохранить. Такой лагерь, как Треблинка, так далеко от линии фронта больше не найти.

Произошло почти чудо. Ганс вернулся из амбулатории на собственных ногах. Правда, они теперь тощие, как веретено, и болтаются в ставших слишком большими сапогах, но с этим мы справимся: будем поддерживать его на перекличке и при маршировке сзади и с боков, присматривать за ним в бараке, чтобы в случае близкой опасности быстро поднять его с кучи тряпья, на которой он полулежит, полусидит.

И Галевский уже на ногах, но он так слаб, что функции старосты лагеря продолжает выполнять Раковский, пока Галевский не придет в себя. Когда в лагере много другой работы, кроме работы с эшелонами, когда везде всё перестраивается, расширяется и улучшается, тогда ээсовцы закрывают глаза на некоторых из «разгребателей собственного дерьма» — особенно если речь идет о старосте лагеря. А так они перевернули весь лагерь. Они вытащили людей даже из мастерских и приставили их к вагонеткам. Они сформировали новые бригады, которые под конвоем выезжают из лагеря и

привозят на грузовиках щебень, шлак и другой строительный материал. Когда поступят следующие эшелоны, Треблинка должна выглядеть, как прекрасный парк. Говорят, именно так недавно выразился Лялька. Сортировочный плац, на котором раньше была постоянная толкотня, стал самым спокойным местом в лагере. Одну из тамошних бригад переименовали в «лесорубов» и «переобучили». Эти люди прореживают кустарник и валят деревья вокруг лагеря, там, где лес стал слишком густым.

Уже несколько бригад побывали на работах за пределами лагеря. Достаточно отойти совсем немного, чуть-чуть углубиться в лес, и уже появляются одиночные «спекулянты», но это — самые мелкие из всех. Босоногие мальчишки и девчонки, одетые в лохмотья, появляются и сразу же исчезают между деревьев. Все выглядит так, словно они собирают валежник. На самом деле чуть поодаль у них спрятан сверток.

У охранников уже полны карманы денег, теперь они выманивают у голодных людей из этих бригад другие ценности — главным образом, золото и доллары. Они научились распознавать, кто из эсэсовцев «добрый начальник», при котором можно спекулировать, а при ком нельзя.

Вдруг охранники начинают орать больше, чем обычно, один ненадолго задерживается в лесу и скоро догоняет остальных. За спиной в коричневой бумаге у него что-то крупное. Немного погодя, в какой-нибудь низине он раскрывает пакет и приглашает эсэсовцев и других охранников «за стол». Колбаса, ветчина, ломти белого хлеба, бутылки с водкой — словно он здесь, в лесу, случайно купил на свои деньги дополнительное питание. Вначале они сгоняют всю бригаду и усаживают ее в сторонке. Потом каждый выбирает себе, что ему нравится. Под конец охранник, снова выбрав благоприятный момент, дает что-нибудь и бригаде — за то, что там, под пеньком, лежали 20 долларов. Но на самом деле охранник ничего не покупал за доллары. Он их присовокупил к остальным ценностям, которые уже давно спрятал где-то вне Треблинки. Он все купил на польские злотые, которых у него полно в карманах галифе, прикрытых кителем. Эсэсовцы делают вид, что ничего не видят. Никто ничего не видит и не

знает. Спустя некоторое время никаких следов «обеда» не остается. Все происходит при молчаливом взаимопонимании.

Спектакль продолжается, когда колонна приближается к лагерю.

— И чтобы никто ничего не пронес в лагерь, — говорит эсэсовец охранникам, хоть и громко, но как-то вскользь. При этом он позволяет охраннику пронести для него самого не слишком большой пакет и только смотрит, чтобы тот дошел до его комнаты незамеченным. Все тайком проносят в лагерь еду и выпивку. Украинцы — просто за спиной, потому что им грозят в крайнем случае побои — 25 или 50 ударов при проверке позади барачков. Отважные спекулянты в колонне несут кусок колбасы, ветчины и белый хлеб, спрятав на голом теле, в штанинах, под рубашкой, под мышкой — до тех пор, пока вечером не попадут в свой барак. Там они продают принесенное за 20—30 долларов или за 1000—1500 злотых, чтобы в следующий раз, когда они выйдут из лагеря, иметь при себе настоящую валюту. А купивший делит этот кусочек белого хлеба или апельсин на части и передает друзьям в амбулаторию. Без этого выжить в Треблинке было бы совершенно невозможно.

Господи, откуда на четвертый год войны в этой нищей разоренной стране так много еды? Где эти босоногие люди в лохмотьях берут пакеты с деликатесами, которые они продают за 20000 злотых, за золотые часы? Объяснения Давида Брата и других, кто раньше жил в окрестностях Варшавы, заканчиваются всегда одним и тем же:

— Нет, чтобы это понять, надо долго жить в Польше, особенно в восточных частях. В так называемом «генерал-губернаторстве», как немцы после введения войск официально именуют эти области. На продуктовые карточки ты не получишь ни кусочка хлеба. Но на черном рынке, из-под полы, за безумные деньги — все, что только пожелаешь.

Спекулируют все, взвинчивание цен начинается с крестьян, которые продают что-то остальным, а самые крупные спекулянты и вымогатели — немцы и их помощники в разных рангах. От Вислы, а может, и еще дальше на восток, от фронта, тянется сквозь леса и необозримые равнины с выжженными деревнями и хуторами след опустошений, кото-

рый оставляют после себя немцы. Они так же мало заинтересованы в настоящем порядке, как эсэсовцы в Треблинке, — во всем, что касается денег, золота и украшений. Разумеется, не те, что совсем наверху, а те, что ниже — помельче и совсем мелкие, через чьи руки должно проходить все собранное добро. Если бы ты совершил марш-бросок по этим областям, то узнал бы, что кусок хлеба, за который тебе где-нибудь в Центральной Польше пришлось бы заплатить 20 злотых, восточнее Варшавы стоит уже в два раза больше, а чем ближе к Треблинке, тем он дороже. В самой Треблинке за 300 граммов хлеба приходится платить 500 злотых, или 10 долларов, или 5 золотых рублей.

В пути ты бы увидел, как свирепствуют СС, полевая жандармерия, польские немцы, которых называют «фольксдойче». На несколько километров глубже в лес можно наткнуться на партизан, а еще чуть дальше — на банду, которая тоже называет себя партизанами, но не имеет с ними ничего общего. Они грабят и убивают, им безразлично, на какое жилище они набредут в ночи. Вся эта область превратилась в кошмар, а посередине, в песчаном укрытии среди лесов, в излучине Буга — господствует Треблинка. Сюда стягиваются спекулянты за сотни километров. Но самое последнее звено в длинной цепочке — бродяги, которые боязливо высовываются из-за деревьев в страхе быть обнаруженными охранником. Крупные спекулянты сидят дома, в Варшаве, в Люблине, где, наверное, даже есть специальные организации, которые посылают своих людей с нагруженными машинами в хижину, окружающие Треблинку. Все окрестное население, куда ни посмотри, паразитирует на этой бойне, зараженной Маммоной. Все заинтересованы в том, чтобы Треблинка продолжала существовать, чтобы она поставляла ценный побочный продукт — деньги, золото, бриллианты.

— Если вам каким-то чудом удастся выбраться отсюда, постарайтесь, чтобы никто не догадался, что вы сбежали из Треблинки, — говорит нам Люблинк. — Они отнимут у вас всю одежду, оставят вас голыми, они вас убьют, а потом еще проверят, не спрятали ли вы золото где-нибудь на себе...

— Сегодня мы выезжаем из лагеря, — объявляет Бредо сразу после утренней переклички. Он ведет нас к грузовику

перед комендатурой, где уже ждут 10 «синих» с унтершарфюрером Шиффнером и несколькими охранниками. За открытыми воротами постовые поднимают шлагбаум. Сырой холод леса и облака над совершенно черными верхушками неподвижных сосен производят на меня такое сильное впечатление, что в первые минуты я совсем не замечаю дороги. Сделав большой крюк, мы снова приближаемся к железной дороге. Лес становится реже. От опушки леса машина резко сворачивает на тракт. Я смотрю назад. Вдоль леса, куда-то на восток, тракт и железная дорога идут параллельно. Около большой вывески с надписью «Рабочий лагерь Треблинка» едва заметны одноколейное ответвление железной дороги и переход тракта в лесную дорогу. На одной стороне — железнодорожная станция с куда более скромной надписью «Треблинка», а по другую сторону тракта вдаль уходят болотистые луга, перемежающиеся полосами дикого кустарника. В глубоких следах, оставленных скотом, стоит вода, а местами виден черный кусок торфа.

Далеко впереди, где над трактом поднимается пыль, мы видим жилье, вросшую в землю хижину, покрытую, словно косматым мехом, связками соломы.

— Эта железная дорога ведет на восток в Бялысток, а в другую сторону — в Малкинию, — объясняет мне один из «синих». — Похоже, мы едем на лесопильню, за досками. Недавно одна бригада привезла туда срубленные деревья. Смотри, сейчас мы будем проезжать маленькую деревню, она называется Котаски. Люди там выглядят так, словно вот-вот умрут, живут в хижинах, но готов поспорить, что у каждого где-то припрятан мешочек с деньгами и золотом из Треблинки.

— У этих? — вмешивается другой «синий». — Да где там, им достаются только крохи. Большую часть они должны отдавать тем, кто поставляет им товары для спекуляции, которые они обязаны передавать дальше.

— А как не — а если нет? Если они не отдадут?

— Тогда те натравят на них партизан. Или заявят немцам, что они и есть настоящие партизаны.

Вот мы уже проезжаем несколько крытых соломой хижин. Со всех сторон сбегаются дети, подростки, женщины, все босы, одеты в лохмотья, все останавливаются с откры-

тыми ртами, некоторые прикрывают рот рукой, все смотрят вслед промчавшемуся грузовику, не могут отвести взгляд от жуткой картины — раскрашенных всадников антихриста из царства смерти, золота и сказочных богатств, лежащего там, за лесами. За бутылочку водки, за баночку сливок оттуда можно получить сапоги из такой мягкой кожи, что надеваешь их, как перчатки. А за пакет с едой — даже золотое кольцо, от украинских убийц в черных формах, которые убили уже столько хороших поляков.

Мы едем по маленькому мосту через реку Буг, которая огибает городок Малкиния. Дальше шоссе выложено булыжником. Мы проезжаем мимо двух-трех людей. Один в униформе железнодорожника склонился над рулем велосипеда. Смотри-ка, оказывается, за забором существует мир и в нем люди ездят на велосипедах. У первого же большого здания мы сворачиваем в ворота.

Нам придется подождать, еще не все доски напилены. Шиффнер, сегодня без плетки, поворачивается к охранникам:

— Так, слушать мою команду. Вы остаетесь здесь, мы ненадолго уйдем, и предупреждаю, чтобы никаких глупостей, вы знаете, чем это закончится.

Оба, Шиффнер и Бредо, идут к двухэтажному зданию на другой стороне улицы. Оно стоит там такое же одинокое, как маленькая лесопильня на этой. На овальной медной дощечке написано «Почта».

— Куда они?

Более опытный из «синих» выдвигает нижнюю губу:

— К бабам, на почту. Но девушки там не только для того, чтобы ставить штемпели, а господин заведующий продает, кроме марок, еще и водку и деликатесы.

Мы возвращаемся в лагерь, замерзшие от быстрой езды. Я даже не могу есть и сразу после переключки залезаю на нары. Наверное, это простуда. Карлу не лучше. Скоро у меня поднимается температура, а посреди ночи я просыпаюсь от озноба.

На утренней переключке, когда дождь барабанит по нашим наголо обритым головам, а я облизываю обметанные лихорадочной губы, мы узнаем, что сегодня воскресенье и мы будем работать только до обеда, а после обеда — отдыхать. Впервые после Рождества мы хоть полдня не должны работать...

Мите, словно какой-то злой дух нашептал ему, что мы, Карл и я, отвратительно себя чувствуем, вывел нас из «барака А» на сортировочный плац, помогать в земляных работах. С безучастными, водянистыми глазами он стоит и ждет, пока мы подключимся к работе, потом отворачивается. Внешне он всегда такой безразличный, а внутри, вероятно, весь — напряженное ожидание.

Мы с трудом волочим ноги, шагая взад и вперед с носилками, нагруженными тяжелым, мокрым песком. Наверху носилки наполняют, внизу мы их опрокидываем и снова тащимся наверх, потом — вниз. По плацу ветер почти горизонтально гонит непрекращающийся, плотный дождь, а вместе с ним — мелкий песок, который прилипает к мокрому лицу. Песок проникает в нос, в рот, в глаза, впивается в кожу, в затылок, забивается под ремень и шуршит в ушах. Я снова наклоняюсь к ручкам носилок, и, когда рывком выпрямляюсь с грузом, в голове от повышающейся температуры словно стучит молот. Я бреду в мокром, вязком песке и почти не чувствую удара, который гонит меня дальше. Я облизываю губы, и мой рот наполняется песком. Песок, везде только песок, он, вероятно, с той стороны, такой мелкий, перемешанный с пеплом.

Как долго еще — взад и вперед — и вообще, как долго еще? Ты ждешь, все еще ждешь. Ты уже и так мертв, вот только не можешь умереть. Хоронжицкий, вот он сумел умереть достойно, и тот, который заколол Макса Биалу. Чего ты, собственно, боишься? — Того момента, когда останусь голым. — Ну, вот, видишь, и ты уже слишком долго здесь, слишком долго ждал, слишком много видел...

## КЛЮЧ ОТ СКЛАДА БОЕПРИПАСОВ

Наконец в прогретом воздухе наступающей весны карусель, которую в моей голове завела «треблинка», остановилась. В ушах у меня все еще немного шумит, но мне уже не надо так сильно напрягаться, чтобы сохранить равновесие. И самое главное — мои мысли начинают приходить в порядок. Тиф свалил нас с Карлом одновременно, с точностью до одного часа. Даже в этом мы оказались неразлучны. А теперь гово-

рят, что нас укусила одна и та же вошь. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я перенес кризис в амбулатории, может быть, три, а может быть, и четыре недели. То, чего я не помню, мне теперь рассказывают другие.

Тогда вечером, когда Роберт осмотрел нас, я еще слышал, как он сказал:

— Само собой разумеется, вы останетесь здесь, пока сможете держаться на ногах. Но я сейчас же загляну к Рыбаку и узнаю, когда может освободиться место для вас.

Первые два дня мы еще мерили температуру: 39, 40. Когда на третий день градусник показал у Карла выше 40, он швырнул его в стенку барака:

— Так, теперь отдохнем хотя бы от этого.

Термометр Карл выменял перед этим в «бараке Б». Он был толще и симпатичнее, чем тот, что мне обычно засовывали под мышку дома при ангине.

— Ты должен, ты должен, ну, еще один день. — Давид толкает меня, чтобы я стоял прямо, когда приближается фуражка с черепом. Потом снова поит меня чаем и заставляет глотать таблетки. Бог знает, где он их раздобыл в лагере, и вообще, зачем они ему.

На восьмой день этой ужасной лихорадки борьба кончилась, кончились обещания, что я смогу выдержать. К вечеру язык вывалился у меня изо рта, и я никак не мог засунуть его обратно. Тогда возник вопрос, как продержаться на перекличке. При построении кто-то за моей спиной держал руку с вытянутой вперед ладонью, чтобы я мог облокотиться на нее. Спереди этого видно не было.

— Давно? — поприветствовал меня Рыбак в амбулатории. Он сидел там с широко расставленными коленями в халате, который когда-то был белым. Я показал ему на пальцах: 8 дней. — Тогда завтра у тебя будет первый день кризиса. Он уже начинается. И завтра же у меня будет свободное место, как раз под Карлом. Так что приходи — завтра утром.

Я плелся обратно в барак на свои нары и думал о том, что для «спецвизитов» Мите в амбулаторию я слишком оброс. Ребята со мной согласились, и мы все принялись за мою щетину. Ганс меня держал, Роберт намыливал, Руди брил, а я ругался и обзывал их всех сукиными детьми.



В те дни удавалось пока что все, что придумали в революционном комитете и люди Галевского. После Цело в совещаниях участвовал Руди, который закончил военную службу в чине лейтенанта. Нам, Карлу и мне, Руди Масарек ничего не говорил, потому что у нас была «треблинка». Остальным он тоже ничего не сказал.

Однажды маленький Эдек проскользнул к двери склада боеприпасов и засунул в замок металлическую стружку. К складу боеприпасов можно было подойти только непосредственно из барака эсэсовцев. Строго говоря, это был бетонный куб, к которому с двух сторон примыкали деревянные бараки. Жилые помещения эсэсовцев, оружейная, столовая, кухня — все находилось под одной крышей. Туда имели доступ только немногие из «придворных евреев»: певец Сальве, маленький Эдек, пятнадцатилетний уборщик Генек, старший уборщик и стукач Хаскел, а еще тот, кто вывозил отходы и должен был заботиться о лошади, телеге и конюшне.

Так как дверь не отпиралась, из мастерской вызвали слесарей. Они попробовали открыть замок ключом, обследовали его, потолкали и потрясли дверь и, в конце концов, заявили, что не могут исправить замок на месте, что им придется вынуть обитую металлом дверь и забрать ее в слесарную мастерскую.

Инсценировано всё было примерно так же, как когда удалось вывезти из Треблинки двоих во время погрузки вагонов для «обратного эшелона». Когда слесари начали снова проверять, почему ключ не входит в замок, один из них ударил себе молотком по руке, вскрикнул, ключ упал с верстака на пол, два человека нагнулись, чтобы его поднять, столкнулись друг с другом, начали ощупью искать ключ, остальные стояли вокруг них и смотрели. Они все галдели на идише, перебивая друг друга, а когда один из искавших поднялся с ключом в руке, с криком «Вот!», слепок ключа был уже сделан прямо под носом у эсэсовцев.

Через три дня, когда я лежал на нижних нарах, упершись головой в стенку кухни, освободилось место наверху. Рыбак переложил меня туда, и я оказался рядом с Карлом. Глаза у меня открывались только изредка, и я узнавал старый халат Рыбака. Я и не почувствовал, когда мне вводили иглу, что-

бы сделать укол. А что это может быть «лазаретный укол», мне даже и в голову не пришло. В другой раз над нарами показалось круглое лицо Цили с ямочками на щеках, ее руки поднесли к моему рту миску.

— Рисовый суп — сам Бредо поручил мне сделать это, когда услышал, что вы больны, а это — фляжка с чаем.

Постепенно я начал осознавать себя. Мне удавалось проглотить немного супа. Он был не такой, как из нашей кухни, — намного лучше. Я подозревал, что Рыбак отливает мне от своего супа, который он всегда получал из украинской кухни. Иногда, скорее как во сне, чем наяву, я видел Руди, который что-то поправлял у меня на нарах. Отчетливее всего я вижу перед собой бледное, обтянутое кожей лицо Давида — он вложил мне в руку два высохших яблочка, стоя на коленях на нарах, склонился надо мной, поцеловал меня в лоб и пропал. Два сморщенных старых яблочка, таких маленьких, что они оба уместились в ладони, и поцелуй в лоб вместо удара по голове. Я почти принял поцелуй за удар — так это было непривычно, так странно. Я и подозревать не мог, что тогда, в обеденный перерыв, это могло означать прощание навсегда. После обеда «всё» должно было начаться, а больные, совсем ослабевшие люди и, конечно же, доносчики не должны были ни о чем знать.

На складе боеприпасов под разными маленькими ящиками были два, в которых, судя по описаниям двух ребят, служивших в эсэсовском бараке, могли быть только ручные гранаты. Когда вынесли эти две коробки, прикрыв их отбросами, и привезли их в тачке под всяким мусором в мастерские, те, кто служил раньше в армии, выяснили, что в гранатах нет взрывателей. То ли они хранились на складе где-то в другом месте, то ли их держали и вовсе неизвестно где. Кому-нибудь постарше, кто разбирался в этих вещах, невозможно было попасть в эсэсовский барак. Революционным комитетом руководили тогда капо Курланд и не совсем поправившийся Галевский. А Раковский, все еще исполнявший функции старосты лагеря, принимал участие во всем этом скорее в форме пассивного согласия, подчиняясь больше ходу вещей, чем собственному желанию. Было решено немедленно отнести ручные гранаты обратно, как сле-

дует обучить ребят и отложить «всё» до тех пор, пока они снова наберутся мужества, а потом дожидаться понедельника, когда из эсэсовского барака вывозят мусор и более крупные отходы на тачке. Это удалось. Те, кто тогда лежал в амбулатории, включая меня и Карла, не восприняли свисток на переключку в тот вечер как нечто особенное.

На шестой день я немного окреп. Рыбак помог мне умыться и побриться. Для Треблинки у него были непостижимо сильные и чистые руки. На следующий день, сразу после сигнала к подъему, я сложил свои одеяла, оделся и пошел к Рыбаку, который сидел за маленьким столом лицом к окну, спиной к проходу между нарами. Он понял, что на прощание я хочу ему что-то сказать, что-то очень важное.

«Доктор, я знаю, что не должен говорить вам «вы», но я говорю так Галевскому, Курланду и вам. Я просто не могу иначе. Вам троим во всем лагере я говорю «вы». Капо бригады «синих» я тоже говорю «вы», но совсем по другой, противоположной причине. Я знаю, доктор, что не должен вас благодарить. Но только скажите мне, почему, если Бредо все время присылал мне что-нибудь с Цилей из немецкой кухни, почему и вы тоже все время что-нибудь добавляли мне от своего украинского супа? И почему некоторые из вас меня не любят, говорят, что я вроде как из «чистой публики», а другие, постарше, обращаются со мной так, словно я — первенец в их семье, которому должно доставаться самое лучшее? Почему, о Господи...»

Ничего этого я не сказал, а только теребил грязный халат Рыбака в том ритме, в каком всё это мелькало у меня в голове. При этом я улыбался, потому что и Рыбак немного улыбался. Потом, после утренней переключки, в боксе «барака А» все плыло у меня перед глазами.

На следующий день, когда Карл вернулся из амбулатории, был расстрелян капо Раковский — силач Раковский, к которому Лялька, а с ним и некоторые другие, питали определенное уважения, а украинские охранники, из-за его рискованных спекуляций, — даже восхищение и с которым мы в нашей старой-новой игре связывали определенные надежды.

Эту сцену я уже и сам мог довольно отчетливо вспомнить: когда незадолго до обеденного перерыва мы марширо-

вали вниз к кухне, Мите вел Раковского, который был на целую голову выше, мимо нас наверх — в «лазарет». На этот раз с ним был небольшой эскорт охранников. Поговаривали, что они еще раньше обыскали нары Раковского, одеяла и вещи, и нашли там кучу денег и золота. Но выглядело все скорее так, словно они хотели показать, что открыли это только сейчас.

На чрезвычайной переключке маленький, похожий на бочку штабсшарфюрер Штади показал, на что он способен, заменяя ушедших в отпуск Кюттнера и Франца. Он в ярости сопел, щеки его надулись еще больше обычного, из-за чего взгляд маленьких глаз казался еще злее:

— У кого будет найден хоть один пфенниг, тот понесет страшное наказание!

— Видно, что он все-таки здесь только заместитель, он мыслит самой жалкой валютой, — говорит Ганс, когда мы маршируем обратно в барак, и толкает еще не вполне поправившегося Карла, чтобы тот шел прямо и не бросался в глаза.

— Галевский и Курланд считают, что они ничего не знают наверняка, а просто что-то подозревают и время от времени перестраховываются. — С тех пор как Руди принимает участие в заседаниях комитета, он часто отпускает такие замечания, словно бы нечаянно. Совсем ничего не сказать нам он не может. Мы, в свою очередь, знаем, что не должны задавать вопросов.

— Возможно, штабсшарфюрер организовал это в качестве превентивной акции, пока Лялька и Легавый, два опорных столба Треблинки, отсутствуют.

— А может быть, «бочонок» штабсшарфюрер сделал это, только чтобы показать Ляльке-Францу свое старание. Пока тот в отпуске, он приказал пристрелить его фаворита.

— А Моник из «придворных евреев» говорит, что за этим должно что-то стоять, из троих здешних стукачей он имеет самую большую мойре — больше всех боится.

— А что с охранниками, которые исчезли после Раковского из лагеря и заменены другими?

В этот период колебаний и страха снова прибывает несколько крупных эшелонов. Они беднее всех, какие когда-

либо приходили в Треблинку. Вообще никакого багажа. Лохмотья вместо одежды. В вагонах для скота больше мертвых и полумертвых, чем когда-либо прежде. Очень немногие еще могут двигаться. И все-таки *они* отбирают несколько человек для пополнения наличного состава после того, как казнили почти каждого десятого: нужно больше рабов для перестройки и расширения Треблинки, чтобы зондеркоманда СС могла демонстрировать активную деятельность, чтобы для следующих эшелонов дорога с «вокзала» в «душ» проходила мимо клумб, украшающих похожую на парк территорию лагеря.

«Господа и заплечных дел мастера» при этом не замечают, какое завещание привозят с собой эти эшелоны с выжившими после восстания в Варшавском гетто и как вновь отобранные передают его «могильщикам» в Треблинке.

По мере того как Давид Брат слушает новичков, его голубые глаза становятся светлее, чем небо раннего лета. Варшавского гетто больше не существует. На его месте остались только руины и щебень. Подпольщикам удалось пронести в гетто оружие. Там евреи подняли восстание. Они уже точно знали, что их не ждет ничего, кроме Треблинки. Значит, той паре беглецов все-таки удалось «сообщить миру», по крайней мере той части мира. Под конец немцам пришлось пустить в дело танки и артиллерию, чтобы победить повстанцев, в том числе женщин, стариков и детей.

Мертвых и умирающих раненых пошвыряли в вагоны. Туда же запихнули всех, кого смогли поймать. Так их всех привезли в Треблинку — в удушливой жаре, расстрелянных, заколотых, умеревших от удушья, опухших, начавших разлагаться. Яма в «лазарете», в которой сжигали мертвых, в те дни была переполнена раздутыми трупами, и жаркое солнце превратило всё в одну огромную скользкую лепешку.

Эти эшелоны из ликвидированного Варшавского гетто не принесли ничего, чем можно было бы спекулировать, что можно было бы передать из рук в руки — ни кусочка хлеба, ни одной пары брюк, ни единого куска мыла. Но из уст в уста, из головы одного человека в голову другого распространилось завещание: «Вы, набожные по убеждению или по привычке, вы, талмудисты и неверующие, коммерсанты и

ремесленники, рабочие и лавочники, спекулянты и воры, — вы все, перестаньте цепляться за последний кусочек жизни, откажитесь от надежды стать теми последними, которым удастся избежать обнаженной смерти. Докажите миру и самим себе...»

Через несколько дней в Треблинке исчезают последние следы Варшавского гетто. Зато видно, что во всех частях лагеря и в его окрестностях в полном разгаре строительные работы. Строят бараки, дороги мостят булыжником, плацы выравнивают и укрепляют шлаком, откосы и маленькие площадки засевают травой. Поле перед забором расширяют. По его краю, между вышками, устанавливают «ежи» — стальные противотанковые заграждения, а с обеих сторон забора сооружают непреодолимую ограду из колючей проволоки.

«Очистка лесов вокруг лагеря» — это теперь наша главная работа. Поваленные деревья мы волочим в лагерь, а здесь рубим на дрова. Между тем наступило лето, лето без эшелонов, основная часть работы в первом лагере переместилась вниз, на плац позади украинских барачков, на дровяной плац. Там работаем мы, из «барака А», а также другие бывшие сортировочные бригады. Между уцелевшими высокими соснами растут идиллические поленницы свеженарезанных и нарубленных дров. Вдоль дровяного плаца проходит дорога, ведущая к главным воротам второго лагеря, — они метрах в 70 от нашего рабочего места и хорошо видны. К этим воротам мы подносим все, что необходимо для той части лагеря. Оттуда на работу никого не выводят. Там все еще выкапывают и сжигают тела из старых эшелонов.

## МАСКАРАД

Пока я валялся с тифом, Лялька распорядился доставить в Треблинку двух лисиц, белок, голубей и разную мелкую живность. За забором, недалеко от нашей кухни, там, где идет дорожка к украинским барачкам, плотникам и столярам приказали построить лагерный зоопарк, а на крыше эсэсовского барака и комендатуры — голубятни. Сторожем всей этой живности в Треблинке Лялька назначил нашего Руди. Вступив в должность, Руди посоветовал хранить кое-какие

корма, например для голубей, в маленьком сухом подвале, расположенном совсем близко от склада боеприпасов.

Зоопарк, называемый также «зооуголком», — не единственное новшество в Треблинке: кроме него, были построены конюшня, свинарник и маленький курятник.

Может быть, от скуки из-за недостатка «настоящей» работы, может быть, от разочарования из-за плохих новостей с фронта эсэсовцы ищут, чем развлечься, и, разумеется, больше всего идей рождается у Ляльки. Было известно, что он любит музыку, и кто-то обратил его внимание на известного варшавского музыканта Артура Гольда, который оказался в одном из последних эшелонов. Лялька поручил ему организовать в Треблинке маленький оркестр. Музыкантов здесь было достаточно — брат и сестра Шерманны, единственные на весь лагерь родственники, оба рыжеволосые; тенор Сальве, маленький Эдек со своей гармонью и еще несколько.

Когда наши господа и начальники вернулись из отпуска, они привезли различные музыкальные инструменты, в том числе трубы и кларнеты. Скрипки уже имелись — из эшелонов. Даже Кюттнер привез ноты немецких песен и маршей. Но Франц его переплюнул: он достал откуда-то ударные инструменты. Но этого мало, он уходил в отпуск обершарфюрером, а вернулся унтерштурмфюрером. А Кюттнер-Легавый все еще гауптшарфюрер. Из-за этого он тоже злится.

При первом же удобном случае унтерштурмфюрер Курт Губерт Франц представляется своим товарищам по борьбе, в особенности «фельдфебелю» Кюттнеру, и, разумеется, нам тоже в качестве заместителя начальника лагеря:

— Я хочу слышать пение, настоящий хор всех бритоголовых. Гольд, вот эти плотники сделают тебе маленький подиум, и ты будешь дирижировать в начале и в конце каждой переключки, а по вечерам после переключки вы будете играть нам красивые пьесы. Кто из вас хоть немного умеет рифмовать и писать тексты? — Находится один такой, в Треблинке можно найти всё... — Так, на мелодию, которую сочинит Гольд, ты напишешь текст, и эта песня должна описывать жизнь и труд в Треблинке. Это будет ваш гимн,

вы, образины, вы, мечтатели, это будет гимн Треблинки. У тебя есть два дня, и, если к этому сроку ты ничего не сочинишь, мы не будем больше тратить на тебя еду и место на нарах. А для полноты эффекта портные сошьют музыкантам специальные костюмы.

В большой колонне, марширующей из лагеря с лопатами на плечах, трудно было бы узнать когда-то элегантных мужчин из «готового платья». Сапоги посерели от пыли и износились, рубашки болтаются поверх брюк, лица загорели и взмокли от пота, ладони покрыты мозолями. Сверху по насыпи идут эсэсовцы и охранники. Внизу по шпалам бредет, спотыкаясь, наша колонна.

— Треблинку! — орет кто-нибудь сверху вниз.

— Да, Треблинку!

— Давай Треблинку! — вопят украинцы, и толпа внизу, с лопатами на плечах, снова запекает песню о Треблинке. Мы пели ее на утренней переключке, после переключки, маршируя на работу, возвращаясь с работы. Мы повторяли ее по два-три раза, а потом снова на вечерней переключке:

Левой, правой, держим строй четко, бодро,  
Дух наш светел и высок, шагом твердым  
Мы выходим каждый день на работу.  
Один есть дом у нас — Треблинка.  
И в хлад и в зной.  
Одна судьба у нас — Треблинка,  
И нет иной.  
Лишь долг и верность безусловны  
Для нас сейчас.  
Мы выполним беспрекословно  
Любой приказ.  
Мы будем все трудиться честно,  
Шагать вперед,  
Пока удачи луч чудесный  
Нам не блеснет\*.

Солнечные дни теперь чаще — в такие дни гудрон капает с крыш бараков, а с «той стороны», из «лагеря смерти» ветер приносит пыльный песок. Над Треблинкой повисла уду-

---

\* Перевод Дм. Веденяпина.



шающая жара. Малейшая ранка, даже царапина сразу же нагнаивается, потому что все, к чему ты прикасаешься, уже поражено смертью. У тебя в ногах вода, а в крови Греблинка. Знаешь, как это понять? — Где-нибудь на теле, чаще всего на ногах, появляется маленький белый пузырек с черной точкой посередине. Через несколько дней он превращается в мокнувший нарыв, потом появляются и второй, третий, четвертый. А если ты нажмешь пальцем на ногу, то в ней останется углубление.

Лето и отсутствие эшелонов наводит Ляльку на новые идеи. Склонив голову, в небрежной позе повелителя он прислушивается к тому, как после вечерней переклички на заходе солнца из 500 глоток раздается тоскливая польская песня «Горалу», — и тут ему приходит в голову, чем еще можно занять время.

— Эй вы, скоты, да вы же проводите в сортирах целые заседания.

Он выискивает себе какого-то увальня, невысокого мужичонку, в лысой голове которого, кажется, уже не все в порядке. Лялька внимательно рассматривает его, покорно стоящего по стойке «смирно», втянув голову в плечи.

— Да, ты — то, что мне надо.

Украинский охранник выкопал где-то старый кафтан. Эсэсовцы, все по очереди, дополняют костюм. К длинному, до щиколоток, черному кафтану добавляют шляпу раввина, в нее втыкают блестящий полумесяц, а в маленькую руку, которая, наверное, никогда не сжималась в кулак, вкладывают тяжелую плетку.

— На оба сортира прикрепить надписи: «Две минуты срать, кто не успел, — гнать!»

Едва Лялька успел это сочинить, как уже Бредо вешает на шею «сортирному капо» большой кухонный будильник. Мужичонка в кафтане, полуоткрыв рот, с почтением слушает их инструкции:

— Значит, так. Когда кто-то входит в сортир, ты смотришь на будильник, и ровно через две минуты он должен отсюда выйти. Ты теперь самый большой начальник надо всеми и над их дерьмом. Так, один у нас есть, теперь еще одного для нижнего сортира.

Эсэсовцы идут вдоль строя и выбирают большого неуклюжего парня. Голова с вытянутым лицом того и гляди свалится с плеч, руки и ноги бессмысленно болтаются и, кажется, не связаны с туловищем. Этого сортирного капо экипируют похожим образом, да еще надевают на него широкий пояс — вроде корсета.

С этого дня у верхнего туалета, который находится рядом с зеленым забором перед «лазаретом», слышны странные крики:

— Но язда, виходзиць — давай, выходи! Пане, пан юш ту седзи венцей як две минуты — ты сидишь там уже больше двух минут — Мойша, если придет Лялька... — Мужичонка в кафтане с нарядным полумесяцем относится к своей должности серьезно. Ни на что большее его мозгов не хватает. Но черт его знает, может, их хватает на большее, чем все думают.

А как обстоит дело в нижнем туалете, покрытом соломой, словно идилическая хижина? Здесь командует охрипший, однотонный голос:

— Давайте, давайте, гаверим, — друзья, но вас там уже слишком много. Куба, выходи или дай мне табаку! У тебя нет табака? Тогда придется выйти. А, чистый постоялец, — приветствует он Вилли из «золотых евреев».

Восемь, десять голых задниц зависли над вонючей ямой в полутьме хижины. Знойную тишину только подчеркивает жужжание мух.

— Митек купил сегодня утром у Сашки пакет. Вот он и даст тебе покурить.

— На правде, Митек? Но нех ми крив залее — черт меня возьми, а я разрешил ему сидеть тут бесплатно.

Включается еще один голос:

— У них какое-то оружие и боеприпасы в маленьком бункере рядом с администрацией, там, где они пьянствуют.

— А как ты туда попадешь? Там все охраняется очень строго.

— Спокойно, господа, не торопитесь. Лично я не тороплюсь. Если они мне пообещают, что ничего хуже со мной не случится, то я буду здесь главным говнокомандующим до конца войны, пока они сами не окажутся по уши в дерьме.

Сортирный капо — это еще у них будет хорошей профессией. Это — вечная профессия. Мой тату и моя мама — да будет песок Треблинки им пухом — они знали, для чего наградили меня такой рожей и фигурой. Всемогущий сказал им, что наступают очень плохие времена и что им не следует делать меня красивым и ловким, чтобы я никогда не женился, чтобы мне не пришлось оплакивать жену и детей в Треблинке.

Кто-то плюет на утопанную землю.

— Хуже с телефонными звонками. Телефон должен звонить каждый час, и они должны докладывать. Симка был в администрации, сдавал новые стулья и слышал об этом.

— Почему мы все так усложняем? За десять минут всё должно загореться, а тогда уже все равно, что будет дальше.

— Говорят, Гришка, маленький охранник, тайком достал себе пистолет. Моник с ним разговаривал.

— Сколько он мог бы запросить?

— Ты с ума сошел? До этого он еще не дошел.

— Ну, я думаю, примерно тысячу «бумажек».

— А он захочет «железок» — «кругленьких».

— Двести пятьдесят долларов в золотых монетах, это и по здешним меркам большая сумма...

— Не волнуйся. — Мрачный «говномастер» берется обеими руками за широкий пояс, который надели на него ээсовцы при назначении в должность. Сейчас этот пояс полон золотыми долларами, рублями, луидорами, монетка к монетке. Болтающаяся голова выглядывает через дверь туалета на жаркий, покрытый черным шлаком аппель-плац:

— Ну, ну, сукины дети, пошли отсюда, время вышло — пошли, пошли!

Слышны громкие крики и страшные удары. Начальник нижнего туалета для верности еще раз громко кричит, но постепенно перестает колотить плеткой по косяку двери. Он поправляет свой кафтан, сдвигает раввинскую шляпу на затылок и осторожно еще раз выглядывает:

— Сидите спокойно, он уже прошел, свернул наверх.

На вечерней переключке Лялька преподносит нам план новой потехи:

— Теперь, когда мы не работаем по воскресеньям после обеда, давайте устроим для развлечения что-нибудь веселое,

что-то вроде кабаре — с музыкой, пением, скетчами, боксом. Рабочие в мастерских сделают настоящий боксерский ринг. Через два дня он должен быть готов. Разойтись!

В прекрасный воскресный вечер всех выгоняют на ампель-плац к боксерскому рингу. Господа в зеленой с черным форме рассаживаются на расставленных полукругом стульях. Обритые наголо головы, носильщики и грузчики, портные и сапожники, плотники и столяры, повара и прачки, писари и финансисты, погонщики, санитары, могильщики — мы все толпимся позади господ, окруженные черными наемниками и стрелками. Треблинка — мир в себе, вычеркнутый из остального мира.

Артур Гольд со своими ребятами, все в белых пиджаках с большими голубыми лацканами, открывают представление маршем. Гауптштурмфюрер Штангль сидит в кресле в центре, слегка притоптывая ногой и постукивая плеткой в такт музыке. Туш... Первым выступает Сальве, певец, он исполняет итальянскую тарантеллу, а после него — новейшее приобретение Треблинки из последнего эшелона, кантор, говорят, один из лучших в Варшаве. У него хорошая школа в ритуальном пении, но он разбирается и в светской музыке. Над бараками, над высоким зеленым забором, над скрюченными соснами разносится его тенор: он поет арию из «Тоски» Верди. Но его нельзя даже сравнивать с полнозвучным оперным голосом Сальве. Это — голос из храма, он потому так легко берет головокругительно высокие ноты, что между ним и Господом существует союз. В следующем его номере мы узнаем арию из «Жидовки» Галеви и обмениваемся понимающими взглядами: «...Рахиль, я уступаю тебя смерти...» Когда ария закончена, Штангль оглядывается. Кажется, он — единственный из всех, кто уловил что-то, кроме мелодии.

В короткий перерыв — без аплодисментов — встречает Лялька:

— Ну, а теперь что-нибудь повеселее, что-нибудь смешное — Вилли, да, Вилли!

Это громкое предложение, одновременно и приказ, выводит на подиум лялькиного любимого комика. Он просит у господ старую газету и удобно усаживается на стуле, словно

после хорошего обеда. Потом он разворачивает газету и начинает читать ее вслух. «Мама, кофе!» — кричит он, глядя поверх одолженных очков в направлении кухни. Вилли читает газету до последней страницы, до объявлений, он читает, кто вступил в брак, кто умер. Он вспоминает, что знал их еще до свадьбы. Вдруг, с повышенным вниманием он чуть подается на стуле вперед и читает:

— Курорт Треблинка! Посетите новый курортный центр Треблинка! Расположен в прекрасном месте, густые леса, свежий воздух, целебный климат. Специальное медицинское обслуживание, диета, современно оборудованная больница для серьезных случаев. Зоопарк, капелла, концерты, традиционные забеги и другие спортивные мероприятия! Прямое железнодорожное сообщение, комфортабельные комнаты по низким ценам и без курортной наценки.

Я стою с краю полукруга, так что мне видны лица эсэсовцев. Некоторые хохочут, вроде Франца, во весь рот, но все-таки натужно. Кюттнер беспокойно елозит на стуле, а Штангль приподнимает брови с недоуменной усмешкой. Шепот Давида рядом со мной звучит, как заклинание:

— Больше позора и унижения — до тех пор, пока наконец уже никто не сможет это выносить.

— Сортирные капо, на ринг! — Зепп-Хиртрайтер подсказывает со своего стула. Франц оборачивается в изумлении. Кажется, его злит, что эта блестящая идея исходит не от него. Но это выражение лица быстро улетучивается:

— Да, да, сортирные капо!

И вот *они* уже стаскивают с них кафтаны. У большого нет кальсон, поэтому они закатывают ему брюки выше колен. У маленького две пары кальсон, одна поверх другой, он выпячивает тщедушную, искусанную насекомыми грудь, когда *они* поднимают его руку для спортивного приветствия. Тем временем Зепп приносит из эсэсовского барака две бутылки содовой.

— У нижнего сортира превосходство в весе!

— Раунды по две минуты, как в сортире!

Гонг! Первый раунд. Большой выдвигается на своих ногах-колоннах в середину ринга и делает руками в боксерских перчатках приглашающее движение: ну, иди сюда, малыш.

Маленький вздрагивает и тоже поднимает руки: если только ты меня ударишь! Большой снова отвечает руками в огромных перчатках: ну, с чего я буду тебя бить? Эсэсовцы вскакивают со своих стульев и кричат:

— Давайте, начинайте!

Капо нижнего туалета приоткрывает рот, его уши торчат еще больше, чем обычно, он наклоняется: ну, бей. Капо верхнего туалета подпрыгивает, чтобы дотянуться до противника, но у него все равно не получается. Обеими руками он лупит противника по животу. Большой приставляет к лицу маленького перчатку и отталкивает его от себя. Тот откатывается к веревкам. Гонг!

Когда *они* дают маленькому пить, содовая, пенясь, вытекает у него через нос. Капелла играет туш — Треблинка воет от восторга.

Следующая идея Ляльки превзошла всё, что было до тех пор.

— Вы же все-таки мужики или нет? И несколько баб у нас тут тоже есть. Свадьба! Мы организуем настоящую свадьбу. Быстро, а то я сам выберу пару. Потом мы устроим, что вы сможете побыть вместе. В задней части барака рядом с мастерской жестянщиков и кузней у нас будет особое помещение для всех молодоженов Треблинки. Как мы его назовем? Ну, ясно — брачный барак!

В следующее воскресенье маленькая свадебная процессия вышагивает по дороге от жилых бараков к апель-плацу. Разумеется, это уборщик и стукач Хаскел и маленькая, не то чтобы уродливая, но угрюмая Перл. Они никогда не имели дела с трупами. У обоих всегда достаточно еды, а у Хаскела и выпивки. Наверное, он хорошо служит, раз ему разрешают допивать за господами.

Но никакой помпы, никакой ритуальной церемонии, без капеллы, без обязательного построения всего лагеря. Вероятно, Штангль решил, что Франц после повышения, которое сделало его одновременно заместителем коменданта лагеря, то есть самого Штангля, перебарщивает со своими идеями. Правда, он разрешил ему претворить эту идею в жизнь, но без роскоши, без театрализованного оформления и без участия других эсэсовцев.

Жаркими вечерами, когда в бараке становится невыносимо душно, перед закатом и до отбоя на апель-плаце возникает что-то вроде карнавального гулянья за колючей проволокой. Приходят женщины, некоторые стоят, другие прогуливаются с мужчинами вокруг апель-плаца, кто-то сидит у задней стены барака. В углу около туалета, под огромным буком, который уцелел в Треблинке, а сейчас усиливает приятность вечера, в маленькой группе о чем-то болтают. Может быть, они выясняют, кто служил в армии и умеет обращаться с ручными гранатами. Говорят, если немцы победят, то устроят из Треблинки музей и будут водить экскурсии. Вроде бы недавно Лялька уже высказывал такую идею. Тогда они тем более будут нас холить и лелеять. Строго говоря, у нас, у тех, кого они выбрали, самое страшное уже позади. Вот так мы и будем жить — до конца. Нам они сохранили жизнь — такую жизнь.

## МАСКИРОВКА

Половина лагеря бродит с инфекцией и чахнет на глазах. Роберт на соседних со мной нарах от слабости уже едва может сидеть. У Руди температура вообще не прекращается. Только мы двое, Карл и я, загорели на солнце и ветре, так что нам стыдно, когда остальные нас видят. Мы даже умудрились раздобыть себе летнюю одежду. Льняные брюки, легкие куртки. Вокруг карманов, на заду, на груди, на обшлагах и на коленях они покрыты лоснящимися пятнами от сала, водки, смолы и молодых сосновых веток. От двух разряженных блестящих щеголей из отдела готового платья первого сорта в бригаде «маскировки» не осталось и следа.

Всё произошло так же случайно и естественно, как и большинство перестановок и перемещений последнего времени. Тем, кому мы не очень доверяем, мы говорим, что перевелись на эту тяжелую работу, чтобы не соприкоснуться непосредственно со смертью, не вдыхать постоянно ее запах. Тем же, к кому мы испытываем доверие, достаточно намекнуть, что Кляйнманн, бригадир «маскировки», и остальные члены бригады захотели, чтобы мы были у них. Когда мы уже проработали несколько дней вместе с бригадой за пре-

делами лагеря, Кляйнманн умело показал и представил нас своему начальнику. Он дождался подходящего момента: унтершарфюрер Зюдо, ростом с ребенка, но наделенный невероятной физической силой и невиданной способностью потреблять спиртное в огромных количествах, докер из Гамбурга, выпил в тот день столько, что казался себе в три раза больше, благосклонно кивнул.

«Маскировка» — единственная из обычных рабочих бригад, у которой все еще достаточно собственной настоящей работы. Длина внешних и внутренних заборов так велика, что всегда находится, что подправить. А когда не находится, то «маскировка» — самая подходящая бригада для работ в лесу в окрестностях лагеря, для прореживания и рубки леса. Несколько раз в день часть бригады, насчитывающей 25 человек, под присмотром охранников и коротышки Зюдо должна выходить в лес, чтобы залезать на деревья, обламывать ветки и в связках приносить их в лагерь к тому месту, где в данный момент подправляют забор. Другая часть укрепляет столбы, подтягивает ослабевшую колючую проволоку и вплетает в нее сосновые ветки, чтобы залатать все до единой дырочки в этой стене из густых зеленых ветвей. Мы научились так носить два, а то и три ремня, чтобы каждый сразу видел: мы из бригады «маскировки». В лесу мы обвязываем этими ремнями отломанные ветки и прикрепляем груз к плечам.

Уже само соприкосновение с природой вне лагеря и работа вдоль ограждения превращают нас во что-то особенное. Когда мы возвращаемся в лагерь, от нас пахнет лесом, к пропотевшей одежде прилипли свежие зеленые иголки, а вечером мы вытряхиваем их из ботинок на нары.

У Карла и у меня на лицах царапины от лазания по деревьям. После той практики, которую мы прошли в лагере, в «маскировке» мы получаем высшее образование в науке спекуляции и контрабанды. Мы учимся прятать деньги где только можно — приклеивать пластырем к подмышкам, засовывать в каблуки, в пояса. Нам везет: вчера мы рискнули и положили деньги просто в брюки, а сегодня засунули по золотой десятирублевой монете в рот. И как раз в этот день, когда бригада выходила из лагеря, устроили выборочную



проверку. Ну что ж, Легашу-Кюттнеру следовало бы заглянуть Карлу и мне в желудки.

Ворота открываются, и колонна с ремнями на плечах марширует из лагеря. Теперь все зависит от того, не нападет ли случайно на нашего «шефа» приступ трезвости. Все знают, что в этом случае никому нельзя взять в руки что-нибудь, кроме отломанных веток, никто и думать не смеет о спекуляции. Но кажется, сегодня у Зюдо один из его больших дней. Он гонит нас через лес, в направлении Бялыстока, параллельно тракту, который виден между деревьями.

— «Треблинку» — запевай!

Что, малыш хочет, чтобы мы пели? Ну что ж, этим он привлечет к нам внимание спекулянтов. Адриан, у которого плоскостопие, несмотря на строжайший запрет и горький опыт, обменивается парой слов с вынырнувшим неподалеку спекулянтом, одетым в лохмотья. Охранники замечают это и так избивают Адриана, что от любого другого ничего бы не осталось. Но это — Адриан, которого называют еще доктор Адриан, и без него невозможно представить себе бригаду менял и спекулянтов из «маскировки». Вчера вечером он получил от коротышки 25 ударов плеткой по спине и еще несколько толстым концом плетки по лицу. Адриан молча снес побои, а потом в лесу выменял у охранника пакет с едой. Причем всех тех, кто помогал ему в этой спекуляции, он виртуозно обманул. Заинтересованные лица, со своей стороны, тайком его поколотили, но их потери были для них гораздо болезненнее, чем для Адриана побои. Он бредет на своих плоских ногах по песку, как на лапах, невосприимчивый ко всем побоям, которые он притягивает, словно магнит. Странно, но плетка на него не действует. Ни одной капли крови. Только один раз я видел, как он выплюнул выбитый зуб.

Маленький Адриан с несколько крупноватым курносим носом выглядит не очень крепким, но его тело, кажется, состоит только из переплетенных жил и мозолей. А самая большая мозоль, наверно, у него на заднице. Он залезает на вершину дерева с ловкостью, которую невозможно предположить, глядя на его фигуру, и первым из всех нас наламывает положенное количество веток. Но если подворачивает-

ся случай, ворует ветки у тех, кто еще наверху. «Что, это — подлость? Ой, Кароль, Рихард, у нас дома считалось подлостью стибрить последнюю луковку с куском сухого хлеба, а стянуть несколько веток...»

Адриан, доктор спекулятивных наук, шлепает со своей связкой на спине обратно в лагерь и думает. За тот кусок белого хлеба, колбасу, сало и бутылку водки, которые спрятаны у него под рубашкой и в штанине, он может получить сегодня вечером в бараке максимум 30 «бумажек», то есть долларов в банкнотах. Потому что сегодня вне лагеря работала еще и бригада «дорожников», они носили камни. Их сопровождал не очень строгий Зайдель и довольно хорошая группа охранников, так что у них наверняка есть что продать.

А поделив всё на четыре порции и приложив водку к самой маленькой, он сможет потребовать по 10 «бумажек» за каждую порцию. Это получится уже 40 «бумажек». А сорок «бумажек» ему, может быть, удастся обменять на 10 «железок». Десять «железок» — это, собственно, одна золотая десятидолларовая монета, ее называют «маленькой кругленькой», это половина «большой кругленькой» — золотой 20-долларовой монеты, самой ценной валюты на бирже Треблинки. Кроме того, десять «бумажек» можно поменять, как минимум, на «пять кабанчиков», проще говоря — на «пятак», золотую пятирублевую монету.

Нет, Адриан принимает другое решение. Он лучше и впрямь поделит всё на четыре части, кусок колбасы в каждой будет не длиннее пальца, но сегодня вечером он продаст только две порции. Одну за 10 «бумажек», а за вторую он потребует 5000 польских злотых, чтобы у него что-нибудь было для следующей спекуляции с охранниками. Конечно, 5000 злотых — это довольно-таки большая и опасная выпуклость под рубашкой, но ведь охранникам время от времени нужны злотые для прямых закупок. На доллары они не покупают, доллары они копят. Уже бывало, что охранники чаще спрашивали злотые, чем доллары, — и ой-ой-ой, как же тогда за полдня, с обеда до вечера, выросла злотый по сравнению с долларом! А еще две порции Адриан сегодня продавать не станет, нет, он их спрячет на нарах до завтра. Вдруг

завтра «маскировка» не выйдет из лагеря или у «коротышки-начальника» будет ежеквартальный приступ трезвости, из-за чего выменять что-нибудь станет вообще невозможно. Тогда цены в бараке подскочат, они вырастут между вечерней переключкой и приказом идти спать. Самые лучшие гешефты совершаются незадолго до отбоя... А если завтра Адриан закончит день в «лазарете» или вроде того? — Что ж, это и есть риск предпринимателя.

— Ой-ой-ой, Мадагаскар... — охрипшим слабым голосом Адриан затягивает тоскливую мелодию. На лице появляется горькая усмешка, которая так же неотъемлема от идиша, как маска от театра. Они обещали нам вместо эрец, земли обетованной, далекий большой остров. Там вместо пожаров при погромах только жар солнца. Туда они обещали отвезти нас всех, и там мы сможем построить свой дом...

Всё получается не так: и с Мадагаскаром, и с гешефтом Адриана. Ночью кто-то украл у него продукты. Адриан прокликает всех, кто еще дышит в Треблинке, и подозревает старого Ицрока, который спит с ним рядом и тоже работает в «маскировке».

Ни Адриан, ни старый Ицрок, чье лицо похоже на кусок сырого мяса — такое же красное и бугристое, по-настоящему не верят, что в ближайшие дни в бригаде «маскировки» будет введен строгий режим, о котором так много болтают.

Но потом и на самом деле начинается. «Маскировку» делят на четыре группы по шесть человек. Каждая группа выбирает старшего. Как только бригада выходит из лагеря, старшие собирают со своих людей примерно одинаковую сумму. Четверо старших потом отдают все деньги долговязому Кубе, который один имеет право вести дела с охранниками, передавать им деньги и получать от них товар. Никто не годится для этого лучше, чем Куба; он умеет так играть своим мягким голосом, производящим впечатление полной незаинтересованности, своим красноватым лицом и светлыми бровями, что всегда находит верный тон. Как только он незаметно принял выменянный товар, его задача выполнена, и на передний план снова выступают четверо старших. Остальные продолжают работать, обеспечивая прикрытые. Вначале выделяют долю Кляйнманна, бригадира. Все остальное де-

лится на четыре равные части. Потом каждый старший отправляется к своей группе, где он так же незаметно делит оставшуюся четверть на шесть порций.

В первый день введения жесткого режима в бригаде «маскировки» все было ужасно. Охранники в ярости били всех подряд, потому что никто не давал более высокой цены. Только долговязый Куба предлагает своим тоненьким сладковатым голосом десять долларов и говорит, что больше ни у кого ничего нет. Адриан и старый Ицрок получают двойную порцию побоев. Оружейными прикладами, плетками, бревнами — от охранников, рабочими ремнями — от товарищей.

В следующие несколько дней охранники пытаются взять «маскировку» измором и набивают себе животы на глазах у всех салом, ветчиной, колбасой. Потом проходят еще два-три голодных дня, пока наконец толстый, всегда потный охранник спрашивает, как только мы вышли из лагеря, словно ничего и не произошло:

— Ну, у кого есть гроши?

И тут отвечает Адриан, так, будто он дает самому себе торжественное обещание:

— У кого же еще, пане, господин охранник, — у длинного Кубы, как всегда, господин охранник, у длинного Кубы, как и было...

Как обстоит дело с бригадиром Кляйнманном? В отношении него Треблинка тоже продемонстрировала свою способность к абсурдным противоречиям. Бригадиром очерстевших, тертых типов, менял и спекулянтов, проносящих контрабанду то в целях наживы, а то в целях благотворительности, стал человек, с уст которого прежде не срывалось ни одного грубого слова. Плетка запутывается у него между ног, мешает ему ходить, он смущенно перекладывает ее в другую руку. В школе он был приличным благовоспитанным мальчиком, всегда получал хорошие отметки, причем никто не считал его зубрилой и подлизой. В гражданской жизни он был, вероятно, надежным, ответственным чиновником и отцом добропорядочного буржуазного семейства. Он жил с женой и ребенком где-то в восточной части Германии, откуда нацисты выслали его как польского еврея еще до начала

войны. Здесь в Треблинке эсэсовцы питают к нему своего рода уважение, дельцы и пройдохи из бригады «маскировки» просят у него совета и всегда выделяют ему часть приобретенного спекуляциями товара. Своим авторитетом он обязан естественному и вежливому тону, которым он разговаривает с различными типами из «маскировки» и с грубым коротышкой-эсэсовцем. И этот свирепый коротышка получает своеобразное удовольствие от общения со слегка полноватым любезным господином с круглой головой и круглыми очками.

В последнее время случается, что наш маленький начальник пропускает утреннюю переключку. Кажется, его алкогольные эксцессы затягиваются до глубокой ночи. Когда однажды после утреннего построения бригада «маскировки» снова остается в строю и ждет своего начальника, Кюттнер, который с журналом и карандашом в руке контролирует отправку бригад на работу, только выдавливая из себя:

— Унтершарфюрера Зюдо снова нет...

По всей видимости, эсэсовцы не знают, что делать. Зюдо слишком много известно о нечистых гешефтах. Вероятно, они ждут, что он умрет сам или что подвернется удобный случай откомандировать его, как они уже делали с некоторыми другими, например, когда он уйдет в отпуск.

Кюттнер посылает «маскировку» без начальника, только с охранниками, на восстановительные работы с внутренней стороны забора, на насыпь железной дороги напротив платформы. Мы должны проверить, где ослабла колючая проволока и в заборе образовались просветы. Примерно через полчаса мы видим Зюдо, он приближается к нам в сопровождении Бёлитца.

— Вы, вонючая банда, моя золотая маскировка... — уже по первым словам мы понимаем, что коротышка сегодня в самом прекрасном состоянии похмелья, когда ему на всё наплевать, когда он выше всего. Он сваливается с платформы на рельсы, но тут же поднимается. Это кажется почти естественным, он — такой, что и не может упасть надолго, — коротенький, приземистый, вроде ваньки-встаньки.

Бёлитцу, который прыгнул вслед за ним, он заявляет, что больше в нем не нуждается, что тот может катиться ко

всем чертям. И вообще, он не нуждается в том, чтобы какой-то гауптшарфюрер или другой наблюдатель ходил за ним. В подтверждение он дружески притягивает Бёлитца, которому он чуть выше пояса, к себе и демонстрирует ему свою силу. Он хватает его за пояс, поднимает одной рукой вверх — и акkuratно ставит снова на ноги.

Потом он обнаруживает нашу группу на насыпи, и у него тоскливо вырывается:

— Вы, собаки, вы, банда оберспекулянтов, вы еще ничего не сделали, а уже... — Он вытаскивает свои карманные часы и некоторое время таращится на них. — Генри-их, подика сюда, — зовет он Кляйнманна. Проходит некоторое время. Коротышка склоняет голову на грудь Кляйнманна и застывает. Охранники наверху, на насыпи, смеются и кричат, чтобы проверить, насколько крепко спит шеф.

На нижнем конце вокзальной площади мелькает высокая фуражка Кюттнера, Кляйнманн сразу же замечает это.

— Господин унтершарфюрер, господин начальник. — Кляйнманн делает шаг назад. Зюдо покачнулся, но опять устоял.

— Генри-их, и из-за него ты меня разбудил? Карл, Рихард! Сюда! Вы двое — настоящие ребята, вот скажите мне, кто виноват в этой войне? — Он продолжает, не дожидаясь ответа: — Ну, так я вам скажу. Виноваты не вы, а английские евреи, а их мы еще всех сюда загоним. Да-а, они все будут в Треблинке. — Он поворачивается к нам спиной и широко разводит руки. — Здесь всё будет приготовлено... Это будет настоящий вокзал. Везде будут надписи... Там, на барраке, будут большие часы... Люди из бригады «синих» получат формы железнодорожников. Их капо — красную фуражку начальника вокзала... И вообще, за работу, собаки! — Он начал кричать, но тут же опять впал в дружелюбный тон: — Генри-их, сегодня работаем только до обеда — сегодня воскресенье, и мы работаем до половины двенадцатого, но — как черти! Адриан, пила должна раскалиться от работы! А в половину двенадцатого — шабаш. Мы все сядем и будем петь духовные песни.

Несколько дней тому назад *они* постепенно, маленькими партиями, привезли в Треблинку примерно три тысячи че-

ловек. Может быть, *они* ликвидировали или сократили какой-то маленький штрафной лагерь. А может быть, отряды полевой жандармерии провели в лесу зачистку и доставили всех, кто попался им в руки, в Треблинку, на сжигание — истощенных людей в полосатых одеждах, слишком смелых спекулянтов, а под конец, в нескольких вагонах — цыган. По обветшавшим лохмотьям, которые сжигали на вновь разведенных кострах в «лазарете», мы поняли, что это были люди разного происхождения и разных национальностей. Может быть, это означает новый этап в исторической роли Треблинки? Разве всё не подготовлено и не обустроено для новых поступлений? Что, если *они* и в самом деле выиграют войну или она просто никогда не закончится? Треблинка так и будет функционировать на окраине цивилизации как предприятие для сжигания всего ненужного? Но тогда почему *они* так безучастно бродят по лагерю и все время бормочут себе под нос: «Всё — дерьмо, всё — дерьмо»?

Еще несколько дней, а потом мы сделаем то, чего ждет от нас мир. В темноте жилого барака я вижу светло-голубые глаза Давида и скрюченные пальцы его поднятой руки. Когда я шел к нашим нарам, я слышал шепот:

— Можно получить кусок колбасы, две булочки и бутылку водки — они хотят десять бумажек. Мойша, давай пополам, входи в долю, но только быстро, а то упустим.

У нас на нарах выступает Руди Масарек:

— Всего нас сейчас человек семьсот. На той стороне чуть больше двухсот, и здесь, в первом лагере, не полные пять сотен. А знаете, сколько из пятисот умеют еще со времени службы в армии обращаться с оружием? Мы подсчитали, получилось немногим больше сорока.

— Ты сказал, два маленьких ящика с ручными гранатами, примерно шесть автоматов и один пистолет для Курланда? Я думаю, этого едва хватит на пять минут.

— Стоп, стоп. — Штанда Лихтблау, зашедший к нам на нары в гости, останавливает Ганса. — А на что бензин, целая цистерна и бензоколонка? Одной тряпки, если ее облить бензином и поджечь, да нескольких продырявленных каннистр — при такой погоде этого хватит на пол-Треблинки. Жаль, что я уже не увижу, как она будет гореть. От гаража до

бензоколонки не больше пятидесяти метров. Я должен о них заботиться, сказал мой добрейший начальник. Ну, так я о них и позабочусь. Это будет мое сольное выступление — огромный факел в память о моей жене и моей дочери... — У Штанды моравско-остравская манера рубить слова. При этом видны его крупные сильные зубы. Не поймешь, не то он улыбается, не то собирается во что-то вцепиться зубами.

Так случилось, что в те дни бригада, которая заботится о чистоте во всем лагере и особенно о безупречном состоянии всех новых сооружений, снова работала совсем рядом с валом.

— Ну-ну, вшистка ту спшонтач — всё тут вычистить, вы, сукины дети! Приготовьтесь — зайд берайт! Пшиячеле, гаверим, друзья! В следующий понедельник! Иди сюда с граблями! Начнется в четыре вечера! Всё тут вычистить и выровнять! Сигнал — ручная граната! Прендшей — быстрее с носилками! Всё поджечь! — Бригадир уборщиков кричит на идише и на польском. Если из второго лагеря слышно: «Выковыривай кости», то и они должны услышать нас через вал. Наконец с той стороны приходит ответ:

— Поняли!

Со связками веток на спинах в лагерь возвращается бригада «маскировки». Чем ближе мы подходим, тем больше зловонное дыхание лагеря вытесняет смолистый аромат веток. Когда колонна, спотыкаясь, спускается к рельсам, мы слышим доносящиеся из лагеря крики и выстрелы. Мы незаметно закапываем то, что предназначалось для наших, в песок. Когда мы проходим мимо ворот во второй лагерь, всё уже тихо. По дороге мы узнаём, что случилось. Они расстреляли всю бригаду лесорубов за спекуляции с украинцами. Интересно, Кюттнер только сейчас обнаружил, что украинцы носят в чайниках вовсе не воду, или он что-то чувствует?

Ворота во второй лагерь наполовину приоткрываются. Эсэсовцы приказывают нам занести туда связки. И вот я пересекаю границу жуткой мастерской смерти. Если мне суждено остаться здесь, то только до послезавтра. Перед нами появляется группа людей, и я вижу Цело. Он загорел, похудел, но все еще статен. Все здесь одеты в лохмотья. Цело молча улыбается мне. За ним видно каменное здание с ост-



роконечной крышей. Это, видимо, вход в газовые камеры. Так, значит, «труба» заканчивается не прямо у входа, а не доходя до него. Мне кажется, что позади здания я вижу рельсы. Это и есть решетка, на которой сжигают мертвых? Дорога ко входу в здание идет слегка в гору. Песчаная почва хорошо утрамбована. По обеим сторонам — деревья, словно это — аллея. Повсюду зеленые газоны, клумбы, обложенные разноцветными камнями, и песчаные тропинки, пепельно-серые и желтые. Тут появляется еще одно знакомое лицо: Адаш, бывший бригадир из «барака А», кричит Цело и остальным несколько слов на идише, так чтобы мы все могли его понять:

— Чего вы ждете, всё ведь готово или еще нет?

## 2 АВГУСТА 1943 ГОДА

В воскресенье, когда после обеда нет работы, мы выносим одеяла на аппель-плац, чтобы немножко полежать на солнышке. До сих пор ничего подобного не было. Кто-то попробовал, и вот уже на всем аппель-плаце лежат люди.

— Как ты думаешь, может, нам вытрясти одеяла?

— Ты что, рехнулся, приятель? На одну ночь? Давай ложись и отдыхай.

— Ну, после завтрашнего дня у нас будет достаточно времени, чтобы лежать и отдыхать.

— Вообще-то нам следовало бы сегодня подвести баланс. Сколько всего людей здесь убили?

— Секундочку. Когда мы приехали, они уже уничтожили двести, может быть, даже триста тысяч. В первые месяцы темп был высоким: в один день «обрабатывали» десять тысяч, на следующий — пять, потом — пятнадцать.

— И как долго продолжался этот темп?

— Мы приехали десятого октября. Во второй половине декабря поток эшелонов прекратился. Потом в январе прибыли завшивевшие эшелоны из Гродно, Бялыстока, а в марте — роскошные с Балкан. За ними — эшелоны после восстания в Варшавском гетто, а под конец — остатки из каких-то других лагерей, в основном бродяги и цыгане.

— Это тысяч шестьсот...

— Теперь добавь двести—триста тысяч до нас, вместе получается больше восьмисот.

— Я думаю, больше. Не забудь, иногда они привозили в одной партии и по тысяче, а то и больше.

Карл, который до сих пор лежал на животе, переворачивается и оглядывает весь апель-плац, пеструю смесь грязных одеял, полуголых тел и бритых голов:

— Значит, это всё, что осталось от миллиона человек.

После утренней переключки Кюттнер посылает бригаду «маскировки» на дровяной плац. Мы должны работать там вместо колонны лесорубов. Сюда пригоняют еще людей. Среди них и Роберт. Вдоль забора, как всегда, патрулируют охранники с автоматами через плечо. Иногда они громко переговариваются с охранниками на сторожевой вышке на нашем конце лагеря. Время от времени какой-нибудь эсэсовец обходит дровяной плац, кажется, для того только, чтобы выполнить приказ Легавого, отданный после инцидента с лесорубами. Многие из эсэсовцев сейчас в отпуске. К тому же очень жарко. Почва, газоны и деревья высохли, даже утро не приносит прохлады. К середине дня жара растет, и лагерь погружается в вялую истому. Но под ней кроется взволнованное напряжение.

Спереди, от дороги, идущей вдоль эсэсовского барака, слышно отдаленное тарахтенье. Приезжает подвода, запряженная лошадей, чтобы вывезти мусор после уборки, и сразу же наша пила застревает в бревне. Теперь телега стоит перед входом, непосредственно у склада боеприпасов. Они грузят «мусор», на этот раз вместе с взрывателями.

— Люди, я вас прошу, делайте что-нибудь, тащите что-нибудь, пилите, нельзя, чтобы вы просто так стояли! — Кляйнманн взволнованно ходит среди нас взад и вперед и заставляет всех работать, так что мы не можем заметить, когда подвода трогается с места.

Через какое-то время до нас доходит известие, что гнездышко уже опустело. Наш связной — Люблинк, который работает где-то на пересечении между «гетто», эсэсовским бараком и украинскими бараками. Сообщения и распоряжения получает тот из нас, кого посылает Кляйнманн, якобы в туалет.

Толкотня у кухни в обеденный перерыв не такая большая, как обычно. Пока стою в очереди, я вижу, что некоторые пожимают друг другу руки. Перед моими глазами встает картина: на Йом Кипур в городке, где жили мои родители, евреи пожимают друг другу руки и желают счастья... Они приехали отовсюду, из окрестных деревень, издалека, и собрались вместе на большой праздник — день примирения.

Несмотря на жару, мы идем со своими мисками в барак, на нары. Мы хотим повидать Руди и поговорить с ним.

— Два ящика уже распределены... Это тридцать штук... В мастерских... Там, в нижнем туалете... У меня на голубятне, что сказал бы об этом Лялька-Франц... Еще пять карабинов... Да, только пять... У Курланда наверху есть пистолет... И еще бутылки с бензином. — Руди уже не в состоянии говорить связными предложениями. Да и никто из нас тоже. — Ребята... если кто-нибудь из вас... скажите тем, дома... — Руди берет нас, одного за другим, за руку, но Ганс отмахивается:

— Подожди до вечера, пока всё снова не отменят...

Внизу появляется худое лицо Давида. Он пришел, чтобы попрощаться. С нар напротив слышен напевный, ритмический, монотонный голос, перекрывающий шум барака. Давид хватается меня за руку: слышишь? Это — псалом царя Давида: «Если я пойду и долиною смертной тени, не боюсь зла, потому что Ты со мной»...

Роберт, уставший, сидит на своих одеялах. Опершись локтями о колени, он крутит головой в разные стороны, чтобы видеть всё происходящее в бараке.

«Один есть дом у нас — Треблинка...» Колонны маршируют после дневного построения и поют песню о Треблинке. Кляйнманн использует начало работы для сообщений, которые со стороны кажутся распоряжениями:

— Начало ровно в четыре часа. Мы должны позаботиться об охраннике около нас, о том, который у забора, и о том, что у ворот; и, само собой разумеется, о любом эсэсовце, который будет в это время находиться здесь. Карабины и всё, что стреляет, сразу же отдавать Йосику и Герцлю, они умеют с этим обращаться, они служили. Другого оружия, кроме того, что мы отнимем у *них*, у нас нет. Может быть, мы по-

лучим еще бутылку бензина сюда, на дровяной плац. Нужно поджечь сразу всё. Мы должны взять на себя эту сторону украинского барака. — Кляйнманн смотрит в направлении сторожевой вышки по ту сторону забора. — Ну, отсюда до нас довольно большое расстояние, но и его нельзя полностью упускать из виду.

Бригада «маскировки» начинает работу на дровяном плацу, мы ломаем ветки, рубим бревна и очищаем их от коры. Карл и я снова беремся за пилу. Единственным начальником на плацу остается Сухомел. В совершенно белой летней форме он катается по плацу на велосипеде. На небе ни облачка, куда ни глянь, везде сияющая синева неба, солнце палит безжалостно, так что всё на земле затихает и с трудом дышит.

— Кляйнманн, который час?

— Скоро два.

— А твои часы не врут?

Далеко впереди, там, где дорога ответвляется в направлении комендатуры, Люблинк подает знак поднятой рукой, при этом он делает вид, что вытирает рукавом пот с лица. Кляйнманн незаметно идет в сторону Люблинка и потом возвращается немного быстрее, но все еще контролируя себя, чтобы не привлечь к себе внимания:

— Слушайте внимательно. Всё начнется, как только они захотят отвести хоть кого-то в «лазарет» или еще как-то убить. Отныне ни один из нас не должен так умереть.

Это означает, что и бутылки с бензином уже распределены. Интересно, сколько их спрятал Давид Брат наверху в «бараке А»? Он и еще пять-шесть человек остались там для уборки. У нас здесь до сих пор нет ни одной бутылки. По другую сторону украинского барака «картофельная бригада» закопала вместо картофеля несколько бутылок, распределив их по всей площади поля. А бутылок здесь всегда было очень много. Хуже обстоит дело с бумагой и спичками, они неизменно были в Треблинке дефицитом.

— Ты, — Кляйнманн обращается ко мне, — сейчас пойдешь наверх к барaku с досками и другим материалом. Сделай вид, что ищешь там еще одну пилу, а по дороге скажи Люблинку, что здесь всё в порядке.

Я иду по дорожке вдоль украинского барака, потом мимо «зооуголка». Оттуда мне машет Беда. Именно он навел такую красоту в зоопарке. Вокруг разбил маленький сад. Дорожки посыпал мелким, просеянным желтым песком, а не пепельно-серым. Крышу и столбы Беда обшил берестой. Вокруг всего сада он сделал такую же изгородь, а газон обложил разноцветными камнями. Ему всего восемнадцать. Он жил где-то в деревне под Прагой и учился на садовника. Его мать держала деревенский магазинчик. Отца у него не было. Когда мы приехали, мы вместе выходили из поезда и помогали друг другу нести багаж на плац для раздевания — он, я и его маменька, мама.

Мне достаточно кивнуть Люблинку головой, чтобы он понял, что у нас всё в порядке. Из голубятен на развилке дорожек от «зооуголка» в «гетто» и в эсэсовские бараки Руди уже должен был все вынести. Наверное, гранаты сейчас у него.

— Ой, ой, куда ты идешь, чего ты хочешь? — спрашивает меня Митек, когда я хочу пройти мимо входа на аппель-плац дальше наверх.

— Сказать, что у нас всё в порядке, а еще мне надо на плац-раздевалку.

— А, зо — а, вот как, — он показывает жестом себе за спину. — В сортир сейчас никому нельзя. Там готовят еще парочку подарков к Симхат Торе — к празднику Торы.

Я выхожу на пустынную вокзальную площадь. Неожиданно, на слепящем солнце, меня снова охватывает это странное чувство. Мне кажется, что я смотрю на происходящее откуда-то сверху, словно я к этому не имею никакого отношения; я — удивленный, замороженный зритель.

Это совсем другая площадь, чем была десять месяцев тому назад. Черная надпись на большой белой доске сообщают прибывающим, что это место называется «Треблинка-Обермайdan». Под ней прикреплены таблички поменьше с указателями: «К поездам на Бялысток и Волковиск», «В душ». Еще несколько табличек с надписями находятся над слепыми окнами «барака А», по эту сторону перрона: «Выдача билетов», «Справочная». Наверху, на фронте светится огромный белый циферблат. Его стрелки всегда показывают шесть часов. Перед входом на плац для раздевания на задней стене гара-

жа — ложная дверь с надписью «Дорожный мастер». Бесцветное покрытие дощатой стены «барака Б» блестит на солнце. На стене выделяется надпись «Отправка грузов». Тонкая полоска газона вдоль барака должна действовать умиротворяюще и успокаивающе. Сочная темная зелень забора кажется еще ярче по сравнению со светлой, пастельной зеленью покрытой травой насыпи. Над блестящими от постоянного использования рельсами сияет выкрашенная в белый цвет поперечная балка. Перрон и весь «вокзал» покрыты черным шлаком. Вся Треблинка представляет собой дикую смесь форм и цветов. Над главными воротами висит вырезанный из дерева земной шар с розой ветров. Две изломанные рунические буквы SS разрезают его надвое. Караульная украшена художественной резьбой по дереву. Они отобрали из эшелонов резчиков и отняли у них все, оставили им только их ремесло, их искусство.

А уж как всё выглядит вокруг резиденции коменданта! Серый цвет мощеных дорожек вокруг комендатуры оттеняется матовой белизной покрытых известью бордюров. Вдоль ярко-желтых, посыпанных песком боковых дорожек и тропинок выложены клумбы из разноцветных камней — как в калейдоскопе. На каждом углу — указатели, а под ними — вырезанные по дереву изображения. Под надписью «К гетто» можно видеть согбенную фигуру еврея с узлом на спине. Около главной дороги вырезаны фигуры двух эсэсовцев, а надпись сообщает, что бульвар Треблинки назван в честь старейшего члена местной зондеркоманды СС: улица Карла Зайделя. Следующий указатель показывает путь к баракам украинских охранников, к «казарме имени Макса Биалы».

Проходя мимо, я осторожно бросаю взгляд в сторону гаража.

— Штанда?

Он выходит из глубины гаража на свет и вытирает перемазанные маслом руки тряпкой.

— Всё в порядке.

К двери гаража он выкатил и подпер камнем медную бочку и еще несколько канистр. Их нужно просто открыть и опрокинуть, чтобы бензин вытек на пятидесятиметровую, покрытую шлаком дорожку, идущую под уклон к цистерне

с бензином. А оттуда меньше двадцати метров до следующего эсэсовского барака.

Вернувшись, я докладываю обо всем Кляйнманну, и мы с Карлом снова начинаем пилить.

— Кляйнманн, сколько?

— Скоро три: два часа пятьдесят семь минут. Осторожно, Легавый сегодня снова буйный. Одного он избил, номер другого записал. Это означает двадцать пять ударов на вечерней переключке.

— Ох, боюсь, не получит он свои двадцать пять.

К дровяному плацу примыкает газон, огороженный только проволочной сеткой. Там отбеливают на солнце и сушат белье эсэсовцев и охранников. Как раз в этот момент появляются три девушки с корзинами и собирают сухое белье. Они тянутся к веревкам. Я еще по дому помню такие сцены, когда женщины в легких кофточках без рукавов тянулись к прищепкам и юбки у них приподнимались.

Я гляжу на сторожевую вышку.

— Слушай, Кляйнманн, а что со сторожевой вышкой? Кто ей займется?

— Не мы. И похоже, вообще никто. Но это же полная чушь. Вышка стоит так, что оттуда можно стрелять в тех, кто попытается бежать. Просто всё должно произойти необычайно быстро...

— Сколько еще?

— Двенадцать минут.

— Гм, скоро конец работы.

Сухомел делает на своем велосипеде несколько кругов около нашей группы. Потом едет вдоль забора, куда-то к главной дороге.

— Поехал на полдник, пить кофе. — Йосик глядит ему вслед. — Мог бы и здесь остаться еще немного.

— Пять минут. Так, схожу-ка еще раз туда. — Кляйнманн исчезает.

Кто-то петляет между деревьями, и тут же к нам подбегает Кляйнманн:

— Легавый кого-то схватил... Сейчас его, наверное, ведут в «лазарет»... Перед этим Куба, староста барака, что-то ему докладывал. — Все останавливаются и замолкают. Бригадир

Кляйнманн пальцами обеих рук трет глаза под очками, чтобы стереть пот, потом смотрит на часы. — Без двух минут четыре...

Второе августа 1943 года.

Впереди, где-то около нашего барака, слышен выстрел. Затем — тишина. Потом взрывается первая ручная граната, сразу за ней — вторая... Я вижу, как на мощеной дороге взрывается третья.

Охранника за нами больше не видно, да и тот, что у ворот, исчез. Йосик и Герцль поднимают свои карабины:

— Революция! Конец войне! — Вторая часть лозунга, наконец, сбита охранников с толку.

— Ура! — Вначале раздаются одиночные, судорожные крики, у меня перехватывает горло и грудь, прежде чем я могу произнести: — Ура! — Крики становятся громче, они звучат над всей Треблинкой. Что-то пролетает у меня над головой и взрывается перед украинскими бараками. Сухие ветки и сосновые лапы загораются моментально. Повсюду полыхает огонь. Ворота во второй лагерь широко открыты, за ними на коленях фигура с карабином, судя по круглой обритой голове, это может быть Цело.

— Легавый получил свое, — слышу я.

Между деревьями в направлении от эсэсовского барака появляется фигура без кителя, только в белой рубашке, и сразу же снова исчезает за взрывами гранат. Вздвигается еще несколько языков пламени, украинские бараки тоже загораются. Вдруг Роберт с распростертыми руками падает на кучу отрубленных ветвей, как дети падают в сено, и остается лежать без движения. Дальше всех впереди Саул. Слева, немного обгоняя меня, бежит Карл с поднятой лопатой, останавливается — по какой-то причине всё застопорилось. За деревом, недалеко от барака, я вижу Рогозу, старшего охранника, стреляющего в направлении дровяного плаца. Что мне, собственно говоря, делать, у меня в руке только топор?

Спереди, от развилки дорог перед эсэсовским бараком, раздается длинная очередь. «Кто успел раньше, Руди или они?» Короткое шипение, а потом — взрыв, который ослепляет меня, все подо мной вздрагивает, сосна перед кухней охвачена огнем до самой верхушки, пламя по краям черное.



Я слышу шипение, не очень громкое, но долгое. Повсюду огонь — значит, все-таки Штанда Лихтблау...

Мы пригибаемся и как-то добираемся до плаца перед украинскими бараками, нас немного: Йосик беспомощно держит в руках карабин без патронов, Герцля я больше не вижу.

Вдоль бараков бежит Люблинк, в руках у него что-то вроде прута, он гонит перед собой, словно стадо гусей, людей, показывает на задние ворота:

— Теперь прочь отсюда, все прочь — в лес! — Ворота ломают, мы выбегаем из лагеря и бежим по овощному полю.

— Карл! — Мы бежим рядом и оба смеемся, как безумные. Я кричу и сам слышу свой бешеный крик. Вскарабкиваюсь на кучу навоза, наваленную у забора, и прыгаю на другую сторону. У меня под ногами несколько раз что-то шипит. Ты, дурак, надо в укрытие, с обеих сторон со свистом летят пули, стреляют с вышек, до которых никто не добрался. Над высохшим овощным полем поднимаются фонтанчики пыли.

Неожиданно перед нами появляется колючая проволока, натянутая перед «ежами» — противотанковыми заграждениями. Там уже лежит много людей, они скатываются вниз, назад, и стонут. Надо очень медленно ставить ноги, как будто идешь по канату, а теперь — гоп. Карл перепрыгнул передо мной. Мы снова бежим.

— Куда теперь?

— Те, что справа, побежали в лес!

— Нет, лучше налево, в болота, туда, где торфяник!

Нас всего трое. Впереди бежит черноволосый Шлёма, тоже из «маскировки». Перед нами возникает озерцо — мы прыгаем через частый кустарник на берегу прямо в воду и вскоре достигаем середины озера. Шлёма впереди, он уже приближается к берегу, когда там появляется фигура в черной форме охранника. Выстрел, крик. Я ныряю, не то плыву, не то ползу по илистому дну обратно к тому берегу, откуда мы прыгнули в воду. Там густые заросли, ветви выступают далеко над водой. Вода надо мной и вокруг меня кипит и пузырится от пуль. Натолкнувшись на берег, я быстро набираю воздуха и сразу же опять ныряю. Кто-то

крепко вцепляется в меня: Карл хочет убедиться, что я в порядке.

Через несколько минут тишины я рискую высунуть голову из воды — до того я лишь успел сделать несколько быстрых вдохов. Карл тоже осматривается. Мы полностью скрыты в полутьме, за плотной завесой ивовых ветвей. У нас за спиной илистый берег, высокий и мягкий, так что мы можем устроиться сидя.

— Я уже думал, что он и в нас попал. — Мы объясняем скорее взглядами, чем словами. — Теперь надо продержаться здесь, пока совсем не стемнеет.

Мы сидим в воде, только нос и рот над водой, и осторожно пальцами выкапываем ямку в берегу позади нас. Даже самой маленькой волны не должно быть видно из-за свисающих ивовых ветвей.

Издали, со стороны Треблинки, слышен шум от дозорной машины, иногда — выстрелы. Вода теплая, дома сказали бы, «как парное молоко». Мы выбрали подходящее время для купания. Сквозь ветви просвечивает солнце, над водой грациозно скользит стрекоза.

С шоссе, со стороны Малкини, доносится гудение, потом — сверху, словно мотор завис прямо над нами. Разведывательный самолет? Окрестность наполняется голосами, криками, восклицаниями, слышны выстрелы. Сквозь голоса пробивается собачий лай. Голоса и лай приближаются — все ближе и ближе. Сейчас, сейчас *они* будут здесь, точно над нами. Нет, прошли мимо, удаляются. Тишина. Снова шум, теперь на противоположном берегу, какая-то машина. Судя по звукам, они грузят расстрелянных.

Солнце опускается к горизонту, мы слышим только тихий шорох насекомых. Жужжание усиливается, когда угасают последние лучи. Комары и мошки садятся на наши лица. Чем чаще мы опускаем головы в воду, тем большее их количество кидается на нас. Кожа на лбу набухает, кажется, она вот-вот лопнет, вокруг глаз, на щеках я чувствую укусы... Вода становится холоднее, да нет, она такая же теплая, просто мы уже шесть часов в воде. Мы уже не дрожим, мы трясемся от холода. Наши колени под водой стучат друг о друга.

Когда мы в полной темноте переплываем озеро и идем к другому берегу, небо у нас за спинами начинает светлеть, а когда выползаем на берег и оборачиваемся, видим огромное зарево пожара над Треблинкой — оно больше и другого цвета, чем во все предыдущие ночи, когда там сжигали людей.

## **ПО ПОЛЬШЕ. НЕМНОГО ВЛЕВО, НЕМНОГО ВПРАВО**

Меня будит низко стоящее солнце. Я проспал целый день. А он, наверное, был таким же палящим, с синим, словно вытуженным небом, как вчерашний. Я лежу в кустах, удобно устроившись в постели из сжатой пшеницы, которую мы притащили сегодня утром откуда-то с поля. Карл рядом со мной еще спит. Он бос, сплошь покрыт засохшей кровью, царапинами, илом и грязью, да и я, надо думать, выгляжу так же. Если ночью мы шли в верном направлении, то теперь должны быть в нескольких километрах от Треблинки.

Когда вчера в темноте мы выползли на берег и увидели зарево над Треблинкой, всю нашу усталость и озноб как рукой сняло. Прежде всего — прочь, как можно дальше от пожарища. Снова и снова проваливались мы в болото, вытаскивали друг друга, при этом тянувший сам сваливался в воду, и мы старались подавить идиотский хохот, который все время нападал на нас.

Когда Буг остался уже далеко позади, мы сделали первую короткую остановку. Мы решили идти ночами к словацкой границе, куда-нибудь в Бескиды. Может, там мы сумеем спрятаться, а может, там есть и еще кто-то, за кем гонятся, или группы сопротивления. Значит, нам надо двигаться все время на юго-запад. Полярная звезда, Малая Медведица, Большая Медведица, горящая Треблинка — вот наши ориентиры, следуя которым мы должны пробираться по болотам, кустарникам, лесам и полям с высокими, еще не убранными посевами, стараясь выбирать кратчайшее расстояние. Иногда мы останавливаемся, всматриваемся в звезды и прикидываем:

— Посмотри-ка, нам не стоит сейчас взять немного вправо, а потом опять немного влево?

Зарево у нас за спиной становится меньше, бледнее, в сумерках оно серое.

Карл просыпается, поднимает голову и, прищурившись, смотрит на меня:

— Ну что, сегодня без построения? Интересно, насколько они смягчат в докладах своему начальству всю эту историю с Треблинкой? Вероятно, их всех накажут за то, что такое могло произойти.

— Или они попытаются вообще всё скрыть, весь свой позор. А это означает, что чем дальше от Треблинки, тем меньше люди будут знать, а на большом расстоянии — и вовсе ничего. Не станут они докладывать.

— Может, они будут продолжать поиски только специальными командами.

— А возможно, и этого не станут делать. Кто сумеет проверить, скольких поймали и убили, а сколько действительно убежало? Спорим, наши brave ребята из СС отправят донесение, что они схватили нас всех, что за пределами лагеря не осталось ни одного свидетеля, а следовательно, всё в полном порядке.

— Но это означает...

— Что мы совсем не из Треблинки, мы — совсем другие люди.

— Ну, и кто же мы?

— Этого я пока не знаю. Знаю только одно — за эту ночь мы должны уйти как можно дальше, а потом что-нибудь придумаем.

Карл осматривает свои босые ноги. Его сапоги завязли в илистом дне озера, когда охранник стрелял в нас. Мы не смогли отыскать их в темноте. Тогда Карл заявил, что будет идти по проклятой Польше босиком.

— Насколько я могу судить по кинофильмам, наше восстание не было особенно успешным. Мы только бросили пару ручных гранат и всё подожгли. После этого мы бросились врассыпную, а они стреляли в нас, как в тире на ярмарке.

— Штанда Лихтблау со своей цистерной бензина сделал, кажется, больше всех.

— Он всегда говорил, что не хочет уходить от своей жены и ребенка, которые «на той стороне». Собственно, это говорили все, кто был постарше, кого привезли вместе с семьями и кто все это организовал.

— Слушай, наверное, они и вправду решили, что сами не побегут, а освободят нас, кто помоложе. Иначе я не могу себе объяснить, почему Люблинк так прогонял нас...

— ... и я не видел потом, чтобы он сам бежал.

— Так что же, Галевский и все вокруг него — Курланд, Зудович, Симка из столярной — они и не хотели бежать?

— А наш Руди?

— У него была жена «на той стороне». Он всегда рассказывал, что она была беременна и что он ее очень любил.

— А держался таким франтом и все время шутил... Он всем доказал, какой он настоящий человек... был.

— А Ганс Фройнд, наоборот, тот давно уже отказался от всякой надежды. Он до последней минуты не верил, что у нас получится...

— Может, и он уже не хотел расставаться со своей семьей «на той стороне»...

— А Роберт Альтшуль отказался просто потому, что у него уже не было физических сил, слишком он ослабел.

— Но охранники остались верны жратве и выпивке и боролись за «гроши». У них ведь наверняка были инструкции на такой случай — некоторые сразу же выбежали из лагеря и окружили его с внешней стороны.

Карл обрывает несколько колосков, растирает их руками, сдувает ость и солому, так что на ладони остаются только зерна. Половину он высыпает себе в рот, а остальное протягивает мне:

— Смотри-ка, это добрый знак. Как говорят верующие — не оскудевает рука Господа?

На закате, еще до темноты, мы покидаем наше убежище, чтобы лучше сориентироваться. Перед нами простирается бесконечно широкая равнина. Далеко на горизонте в небо косо вонзается бревно: наверняка это — «журавль». Домик рядом с ним кажется единственным жильем на всей этой равнине. Он притягивает нас, как мираж, хотя может таить в себе опасность. Да и удастся ли нам до него добраться? Мы

уже очень долго идем от куста к кусту, а журавль колодца возвышается все так же далеко на горизонте. Когда хата перед нами наконец-то становится больше, мы можем различить там признаки жизни: женщина в платке идет к колодцу, спина ее сгорблена.

Мы должны попытаться спросить ее, но только издали — мы ведь не знаем, кто еще есть в хате. Да и старуха может быть опасной. Каждый, кого мы встретим, может оказаться врагом. Старуха поворачивается к нам лицом, но не выказывает удивления.

— Что, в Варшаву? К Висле? Это — Острув, вам надо идти в противоположном направлении, лучше всего вон там, все время вдоль дороги. — Она немного выпрямляется и рассматривает нас повнимательнее. — Учекаче з неволи, так? — Бежите из плена, да? Но вы не поляки...

— Так, так — да, да, — мы киваем головами, — мы — чехи, да, из плена, чехи...

Мы исчезаем в темноте за ближайшими кустами и повторяем, как заклинание, то, что нам подсказала старуха.

— Ну, дружище, теперь ты знаешь, кто мы и что мы делаем? Мы — чехи и бежим из плена. Наверно, уже много беглых пленных прошло мимо нее — поляки, может быть, и какой-нибудь русский, украинцы, почему бы не быть и паре чехов? Да, мы — чехи, и мы хотим домой, на юго-запад.

Вначале мимо Варшавы, за Вислу. Настолько мы оба еще помним школьные уроки географии. Только в ориентировании по звездам мы оказались полными невеждами. Умение находить дорогу нас подвело, а везение — нет, пока что. Собственно, до сих пор мы шли в направлении русского фронта. Может, это и было нашей самой большой удачей, потому что в этом направлении они вряд ли кого-нибудь искали. Замечательная ошибка.

То, что кажется простым в сумерках, когда шоссе на Варшаву видно сквозь деревья, ночью оказывается трудным делом. Иногда нам приходится выходить почти на обочину, чтобы не потерять направление. В полной темноте мы залезаем друг другу на плечи и разбираем по буквам названия населенных пунктов — Вышкув, Радзымин. Которая это уже ночь после Треблинки? Мы давно сбились со счета. Мы изу-

чили различные признаки, по которым можно понять, что мы приближаемся к большому населенному пункту — полоски света, пробивающиеся через затемнение, заборы и собачий лай.

В одну из таких ночей откуда-то с шоссе раздается громкое:

— Хальт!

Мы убегаем и несколько часов лежим неподвижно на картофельном поле. Похоже, нельзя идти так близко к шоссе, везде — жилье. Придется рискнуть, по крайней мере, какое-то время передвигаться днем, чтобы обходить деревни. У нас это получается. Нам даже кажется, что так менее опасно, чем по ночам. С каждым днем мы все раньше уходим из своих укрытий. Пасущиеся коровы, как указатели, помогают нам найти дорогу. С другой стороны нас скрывают кусты, которые, видимо, образуют ветрозащитные полосы.

При свете дня мы можем найти одиноко стоящую хижину, подождать подходящего момента и попросить немного еды. Магическая формула «Мы — чехи, бежим из плена» полностью оправдывает себя. Помогает также чешская речь. Чешский, хоть и звучит немного по-иностранному, но вполне понятен — тоже славянский язык.

— Не бойтесь, за годы войны кто только тут не проходил — поляки, русские и Бог знает, кто еще. У нас достаточно сострадания, чтобы дать голодным поесть и ничего не спрашивать. У вас достаточно ума, чтобы поесть и сразу уйти. — Так нам сказала, чтобы успокоить нас, одна крестьянка.

Однажды тропинка так резко впадает в переулочек с низкими домишками, что мы не успеваем спрятаться от идущих нам навстречу людей, среди них — двое в немецкой полевой форме. Ничего не происходит, мы проходим мимо, никто не обращает на нас внимания. Ну да, мы же выглядим точно так же, как оборванные спекулянты, которые здесь всюду, — оба босые, у одного заскорузлые, покрытые пылью сапоги перекинута через плечо, брюки разодраны и болтаются бахромой, помятые рубашки и пиджаки потеряли свой цвет. С новым чувством уверенности мы бредем по тротуарам мимо домов и домишек, все дальше и дальше. На указателях мы

читаем неизвестные нам названия деревень — Рембертов, Солеювки.

Мы ищем такие пути, где «нет цивилизации», и спокойно вздыхаем, когда можем идти по пустынной местности. Тогда мы даже отваживаемся заговорить с тремя людьми, собирающими на лугу сено.

— Вы хотите к Висле, в обход Варшавы? Там трудно пройти. Там повсюду немцы. Они все контролируют, дежурят даже по ночам. — Потом мужчина с обветренным лицом, одетый в одну жилетку, совещается с женой и дочерью. — Единственная возможность — пересечь военный полигон. Время от времени они испытывают там какое-то оружие и взрывчатку. Вообще-то туда никто не рискует забираться. Но если вы пройдете, то идите дальше через лес и по шоссе к Висле.

Мы проползаем под колючей проволокой и попадаем на местность, которая для нас, быть может, не так опасна, потому что для всех остальных она, напротив, очень опасна: черная трава, черная земля — все выгорело.

Когда мы снова проползаем под колючей проволокой на другой стороне полигона и попадаем в живой лес, мы видим сквозь деревья шоссе. На краю небольшой поляны, за которой сразу начинается шоссе, мы останавливаемся и осматриваемся. В яме мы видим чью-то спину. У этого парня можно было бы спросить, как пройти дальше, к Висле. Мы выходим на свет. И тут из-за леса на шоссе появляются военные в зеленой форме — немецкая конная полевая жандармерия. В следующее мгновение мы оказываемся в яме, и пока колонна скачет мимо и пропадает на другом конце леса, три оборванных парня в кепках с оторванными козырьками копают яму. Двое из них цедают сквозь зубы:

— Давай, копай — одно слово, одно неверное движение, и получишь пулю в голову...

У Карла в руках топор, у меня — лопата, которые поляк оставил на краю ямы, пока сам работал киркой. Снова у нас в головах что-то «щелкнуло», и мы оба, не сговариваясь, одновременно спрыгнули в яму и принялись копать, будто это само собой разумеется.



Теперь, когда опасность миновала, кажется, что мы взволнованы больше, чем поляк. Когда мы, бормоча извинения, объясняем, что «бежим из плена», он только машет рукой и говорит, что привык к таким «выпадам» — к таким происшествиям. Потом он показывает, куда нам идти дальше. Пройдя еще немного, мы обнаруживаем амбар, стоящий на достаточном отдалении от одинокого крестьянского дома. В сумерках мы прячемся в какой-то канаве, откуда дом хорошо просматривается, и ждем, пока стемнеет. Карл поднимает меня, и я пробираюсь в амбар через крышу. Потом я отодвигаю засов и впускаю Карла. Кажется, амбар уже почти полон. В темноте пахнет зерном, соломой, а совсем сверху, откуда-то из-под крыши, — ароматным сеном. Мы на четвереньках ползем наверх и валимся на сено.

После первых мгновений отдыха начинаем чувствовать голод. Когда мы ели в последний раз? Зарываемся поглубже в сено, чтобы было потеплее. Карл беспокойно вертится.

— Я чувствую под собой что-то твердое.

— Что там может быть? Наверное, забытые вилы.

Карл ошупывает сено вокруг себя, потом сует мне что-то под нос — яблоко. Яблоки, уложенные в сено на зиму. Такое везение — это что, знак судьбы? Или рука Господа не оскудевает? Или и то и другое вместе? Правда, на следующий день, когда мы наконец добираемся до Вислы, у нас страшно болят животы от съеденных яблок.

На сортировочном плацу в Треблинке я как-то нашел маленький кожаный футляр с полным набором бритвенных принадлежностей, такой маленький, что он помещался в кармане. Должно быть, очень практичный человек взял с собой в эшелон такую вещь. С тех пор я всегда ношу этот несессер с собой. Теперь мы, раздевшись, стоим в воде недалеко от берега и бреемся. Отражение, которое я вижу в воде Вислы, мало напоминает мое собственное лицо.

Бритвенные принадлежности в маленьком футляре имеют для нас не только практическую ценность, они значат гораздо больше. В округлый кусочек мыла вдавлены четыре маленьких бриллианта. Нам их дали Вилли Фюрст и Зало Зауэр, два «золотых еврея», накануне восстания — на всякий случай... Мы с Карлом решили: если нам суждено выжить,

то это должно произойти без помощи этих бриллиантов. Они останутся у нас только как память, никогда мы не воспользуемся ими ни для чего другого.

Пясечно, Гура Кальваря, Гроец, Могельница — это экзотически звучащие названия деревень, мимо которых мы прошли без особых трудностей. Перейдя через реку, о которой потом узнали, что она называется Пилица, мы снова попадаем в лес, где чувствуем себя увереннее всего.

— Хальт! Ренце до горы! — Руки вверх! — раздается между деревьями. Втянув головы и подняв руки, мы смотрим в дуло карабина. Мужчина, который его держит, похож одновременно на лесника и таможенника. Он говорит на смеси польского и немецкого: — Кто вы? Что тут делаете?

— Мы чехи, приехали в Польшу для работы в немецкой организации «Тодт». Где-то в лесу за Вислой на нас напали партизаны, они нас ограбили, они нас пытали. Мы несколько дней как сбежали, боимся куда-нибудь зайти, потому что наверняка повсюду восставшие. Мы хотим домой, в Чехию.

— С вами разберутся в полицейской управе в городе. Восставших здесь нет, но в лесу бродит много бандитов. Не подходить, кругом, передо мной шагом марш!

Парень в мундире лесника все время держит палец на спусковом крючке и ведет себя так, словно весь лес кишит партизанами и бандитами, которые могут напасть в любую минуту. Но никто не появляется...

— Называем себя, как договорились, — шепчет мне Карл по дороге.

Я хочу сказать ему, что это — чистое безумие, другие имена наверняка были бы лучше. Но у меня ничего не получается. Мы не можем заводить такой длинный разговор перед этим парнем. Историю об организации «Тодт» и чехах, на которых напали партизаны, мы просто собрали по кусочкам из всего того, что нам рассказали люди в хатах и на полях. Карлу пришло в голову, что он может воспользоваться именем своего друга из Оломоуца и назвать себя Владимиром Фризаком. Говорят, его отправили на работу куда-то не то в Германию, не то в Австрию. А значит, если у нас дома не будут выяснять всё слишком уж основательно... Я поду-

мывал о том, чтобы обзавестись именем Рудольфа Масарика. Я знаю его адрес в Праге. Насколько мне известно, он не был зарегистрирован как еврей — пока не женился.

— Мы должны все время повторять нашу историю, как заведенные, — бормочет Карл.

Нове Место над Пилицей, Новый Город на Пилице, куда нас привел бдительный лесник, — это деревня, которую мы уже видели раньше. Он ведет нас через ухабистую деревенскую площадь, выложенную кое-где булыжником, в полицейскую управу. Там мы видим только фуражки польского образца, пока что ни одной немецкой формы. Это обнадеживает. Мы повторяем историю о чехах в немецкой рабочей бригаде, на которую напали партизаны. Не похоже, чтобы полицейским все это казалось совсем невероятным. Но мы чувствуем, что они сомневаются, особенно потому, что мы чехи и говорим по-чешски, — непривычный и непонятный случай.

— Мы хотим домой, в Чехию, — заметив, что такие слова производят впечатление, мы повторяем это как самый веский довод. — Мы будем жаловаться властям.

— Правительству! — Карл говорит так веско, что даже я начинаю ему верить. Чуть ли не с извинениями они приковылаивают нас наручниками друг к другу. По-польски наручники называются смешным словом: «кайданки».

— Иначе нельзя, здесь повсюду бандиты и бродяги. Мы вас переведем... — Слово «партизаны» они не произносят. И не говорят, куда собираются нас перевести. Ну, а мы предпочитаем не задавать слишком много вопросов.

Дорога, начинающаяся от угла деревенской площади, ведет мимо низеньких домишек и хат неизвестно куда. Вся дорога, лишь местами вымощенная грубыми камнями, залита заходящим солнцем, но вот и последние его лучи медленно угасают. На прощание оно еще раз сверкает на наручниках, свидетельстве нашего бродяжничества. За нашими спинами идет полицейский; что он полицейский, можно понять только по его фуражке, а так он одет в гражданское. Тут и там в открытых дверях домов стоят люди, они прислонились к косякам и наблюдают. Какой-то мужчина, босой, в рубахе, руки в карманах брюк, кричит нам вслед:

— Эй, Войтек, ты что, ведешь евреев за город расстреливать?

Боковым зрением я замечаю отрицательное покачивание полицейской фуражки, потом слышу ответ:

— Скорее это какие-то бандиты.

— Хорошо... Мы — бандиты... Мы — не... — бормочем мы и даже не произносим этого слова.

На окраине города человек в полицейской фуражке запирает нас в какой-то темный погреб. Через некоторое время мы замечаем, что не одни на утрамбованном влажном полу. Какой-то человек, кажется с простреленной ногой, стонет и всю ночь предсказывает по-польски себе самому и нам:

— Это кончится пулей в голову, пулей в голову, вот чем это кончится...

На следующее утро нас ведут по той же дороге обратно в полицейскую управу, перед которой уже ждет повозка, запряженная лошастью. Нас усаживают в середину, тот, что в фуражке, а сегодня еще и в мундире, с карабином садится впереди, второй, при полной форме, располагается с карабином на коленях позади, чтобы нас видеть.

Перед тем как выехать из деревни, мы останавливаемся у какого-то дома. Вероятно, тут живет один из полицейских. Нам разрешают сойти с телеги. Когда две-три женщины видят, как мы, скованные наручниками, одновременно наклоняемся, чтобы поднять упавшее яблоко, они бросают нам в телегу груши и яблоки. Едва мы выезжаем из города, наши голодные желудки начинают болеть от съеденных фруктов.

Узкая телега, подпрыгивая, едет по польским лесам вдоль реки Пилица. На дворе стоит прекрасная поздняя осень. Но очень скоро приходится сделать остановку: мы, двое бродяг, вынуждены слезть и как можно скорее бежать к обочине дороги. Там, в кювете, один из нас снимает брюки и садится на корточки, вытянув руку в наручнике вверх, в то время как второй, стоит, немного нагнувшись и опустив руку в наручнике. Несколько раз мы меняемся положениями.

Оба полицейских довольно снисходительны, хотя и не выпускают из рук оружия. Только на одном длительном от-

резке лесной дороги, когда один кричит другому: «Тераз увага — теперь осторожно» и снимает карабин с предохранителя, они не останавливаются. Наверное, тут партизаны могли бы прервать наш понос — но они этого не делают...

Мы полны решимости продолжать безумный спектакль «бедных, заблудившихся чехов». Попытка побега означала бы конец игры. Да и как бежать, если мы прикованы друг к другу этими «кайданками»? Поэтому мы незаметно разрабатываем подробности нашей истории. Повторяем адреса, дни рождения, проверяем друг друга и задаем вопросы, как на допросе.

На одном из указателей появляется надпись Томашув Мазовецки. Вплотную друг к другу стоят низкие дома, потом идут многоэтажные, а повозка гремит по городской мостовой. Для нас это уж слишком большой город. Здесь может быть даже отделение гестапо. Если они хотят сдать нас туда, то это — конец, мучительный конец...

В приемном помещении, которое выглядит как привратничья, разговор ведется частично по-немецки, частично по-польски. На гестапо не похоже, тут нет железной дисциплины. Это нас приободряет. Мы говорим громче, чем полугражданские люди, находящиеся здесь; за поясом у них пистолеты и связки ключей. Еще громче мы говорим, когда переходим на чешский, потому что на другом языке объясняемся с трудом.

«Предварительно» все заканчивается в подвале, таком низком, что там можно только лежать или сидеть скрючившись. Через три дня в подвале мне хочется закричать: «Быть распятым лежа — и за что?» — Но Карл, наверное, счет бы меня трусом...

Первый допрос после нескольких дней, проведенных в подвале, вопреки нашим ожиданиям — не очень основательный. Может, нам просто так кажется. Мы привыкли к другим методам ведения допроса, к тому же мы больше не играем наши роли, мы вжились в них. И сами верим тому, что говорим.

— На нас напали бандиты, партизаны. Вся бригада разбежалась. Мы работали на краю леса в каком-то укреплении недалеко от Вышкува, вроде бы так назывался городок.

Мы пробыли там только три дня, жили в бараках вблизи монастыря...

Про монастырь — это правда. Монахини дали нам поесть, когда мы бежали из Треблинки.

— Когда власти протектората Богемия и Моравия послали нас сюда, мы и представить себе не могли, в каких условиях окажемся. — Я перехожу на чешский разговорный язык, который они вряд ли понимают, и испытываю горечь. Эти полугражданские люди, разговаривающие наполовину на польском, наполовину на немецком, вероятно, «фольксдойче» — польские немцы или немецкие поляки, про которых нам в Треблинке рассказывали Люблинк и Давид Брат. Они, наверно, мало что знают о протекторате Богемия и Моравия. Необходимо только быть начеку, если они начнут кричать или бить нас — на стене висит плетка. Надо успеть закричать раньше и громче, чем они, стукнуть по столу. Тогда они поймут, что перед ними два человека, растерявшихся от всего происшедшего с ними, а вовсе не какие-то пройдохи.

Мы — необычный, неясный случай, поэтому нас отводят наверх, в камеру. Это не настоящая тюремная камера. Стены и нары сколочены из досок. Нас так много, что спать приходится посменно. Одна смена лежит на нарах, которые занимают примерно пятую часть всей площади камеры. Другая смена дремлет, прислонившись к стене, в узком проходе, где едва могут разойтись двое.

Через несколько дней мы уже хорошо ориентируемся в этой предварительной камере. Внутри бывшей еврейской фабрики они построили деревянные клетушки, в которых живут, размножаются и всегда могут вдоволь насосаться клопы, постоянное мучение для сидящих здесь людей. Это — общая тюрьма, потому что сюда сажают всех без разбору: подозреваемых в бандитизме и принадлежности к партизанам, воров, мошенников, спекулянтов, просто чем-то неудобных людей и тех, про кого не ясно, что они за люди.

Иссохший немец, занимающий на нарах привилегированное место около двери, объясняет, что ему может помочь только сальварсан. Он постоянно говорит об этом лекарстве, может быть, он заучивает свою роль сифилитика, вжива-

ется в нее. Молодцеватый блондин, называющий себя Леоном Дубелем, отличается от нас всех тем, что одет в дорогой летний костюм — брюки и пиджак из светлой ткани в полосочку. На ногах у него элегантные полуботинки, но без носков. Говорит, он их потерял, когда вынужден был спешно покинуть жену своего начальника. Но может быть, этот щеголь без носков на самом деле — связной подпольщиков, а история с дамой — легенда.

Мужичок-крестьянин, который располагается в середине нар, поставлял куда-то из-под полы мясо и сало. При той набожности, которую он демонстрирует, крестьянин мог бы утверждать, что вырученные деньги предназначались главным образом для толстой свечи. Он единственный в камере получил особое разрешение, на основании которого ему приносят из дома дополнительную еду. Каждое утро, когда мы пьем обычное пойло из цикория, крестьянин опускается на колени перед нарами, опирается на локти, складывает ладони и молится, обратившись лицом к стене. Наверняка дома у него на стене икона. Но здесь, в камере, на стене — только кровавые следы от раздавленных клопов. Когда утренняя молитва окончена, он крестится и лезет под нары, где хранит свою корзинку, покрытую платком. Само собой разумеется, никто из нас не получает ни кусочка. Так что он остается в камере наедине со своей благословенной едой.

Регулярно, раз в несколько дней, рано утром открывается дверь и в камеру вталкивают парнишку лет тринадцати. Тогда мы знаем, что наступила суббота. Мальчишка украл стул, а так как по будням он должен ходить в школу, то в тюрьму он приходит на субботу и воскресенье, чтобы отсидеть свои четырнадцать суток. Он — наш живой календарь; с его помощью мы отсчитываем недели.

Это предварительная и пересыльная тюрьма, поэтому, за немногими исключениями, отсюда есть только два пути. Если после допроса дадут подписать розовый формуляр — значит, переведут в Освенцим, по-немецки — в Аушвиц; я еще никогда не слышал этого названия. Тогда ночью заводят моторы, включают прожектора, выкрикивают имена, уводят людей из камеры и сажают в грузовики. А если для подписи

дают белый формуляр, тогда путь лежит в Германию, в «рейх», на работы. Тогда днем уводят на вокзал.

Второй путь, на работы в Германию, кажется нам настолько многообещающим, что мы не используем удобный случай для побега. Нужны рабочие для строительства, мы вызываемся, и охранник ведет нас куда-то на окраину города.

— А что было здесь раньше?

— Гетто, евреи — всех увезли куда-то, всё порушили...

Не уцелело ни одной стены, даже маленького кусочка — остался пустырь с горами кирпичей и камней. Мы сидим на корточках среди этих куч и сбиваем молотком цемент с кирпичей, чтобы их опять можно было употребить в дело. Ветер несет разорванные листы бумаги с напечатанным древним текстом. Шановне пане, господин охранник... Как вы сказали, «увезли... куда-то...». Как раз мы двое, что сидим здесь, знаем куда; у нас перед глазами встает красно-желто-зеленоватое зарево, а в ушах звучат древние слова и новое свидетельство: «Или, Или, в огонь и пламя гонят они нас...»

Второй допрос основательнее или, точнее сказать, продолжительнее, но, как мы чувствуем, это только потому, что так положено. Нам задают несколько вопросов, на которых мы можем попасться. Значит, еще сохраняется подозрение, что мы связаны с партизанами и бандитами. Но как раз в этом пункте нам нечего скрывать.

— Мы хотим домой. Вы нас арестовали уже несколько недель тому назад, за это время вы могли уже навести справки, телеграфировать...

— Мы этого не делаем, у нас нет для этого времени. — Да они просто не знают, что на свете существует такая штука, как связь! — Мы пошлем вас отсюда на работу в Германию. — И нам протягивают для подписи белые формуляры.

Осторожнее! Не показывать ликования. Бороться дальше, до конца:

— Но мы хотим домой!

— Это не получится. У нас свои инструкции. Мы выдадим вам путевые листы на проезд к месту работы в рейх, выписанные на ваши имена, и доставим вас в сборный пункт в Ченстохов. Оттуда вас отправят дальше, а что вы будете де-



лать потом, это ваше дело, за это мы уже не несем ответственности. — Мы с Карлом смотрим друг на друга, киваем головами, хорошо бы, все получилось так, а не иначе.

Мы в первый раз подписываемся новыми именами. Мне уже какое-то время кажется, что эти польско-немецкие фрицы-криминалисты ведут себя примерно так же, как в последнее время немцы в Треблинке, которые слонялись по лагерю и все время ворчали себе под нос:

— Всё — дерьмо, и так и так всё — дерьмо.

Нам возвращают, как и положено, все, что у нас отобрали при первом допросе, мой несессер с бритвенными принадлежностями тоже. Мы просим тюремного парикмахера, который должен побрить нас перед отправкой, чтобы он намылил нас нашим собственным мылом, которое лучше того, что у него.

— То е бардзо добре мыдло, надзвычайне — да, это очень хорошее мыло — чрезвычайно...

Сборный пункт в Ченстохове — огромный проходной двор под транспарантом «На работу в Германию». В Германии требуется много, очень много рабочей силы. Сквозь колючую проволоку и здесь можно прекрасно спекулировать и проворачивать небольшие гешефты, например, обменять старые сапоги из Треблинки на ботинки со шнуровкой. А деревянных бараков со сплошными нарами здесь больше, чем в Треблинке.

Мы вместе с остальными проходим медицинское обследование. У некоторых крайняя плоть сморщилась от голода и холода, может быть, поэтому они не слишком дотошно выясняют, кто действительно обрезан.

На дорогу мы получаем продовольственный паек: буханку хлеба и картонный стаканчик искусственного меда, который замечательно обволакивает голодные желудки. Нас строят в колонну, отводят на вокзал и сажают в вагон — в пассажирский вагон. Мы заснули, как только сели. От жуткой усталости мы видим все вокруг, как в тумане.

О большом городе, который мелькает за окном вагона, нам говорят, что это — Катовице. Спустя долгое время наш поезд останавливается на какой-то маленькой станции. Вероятно, это недалеко от бывшей польско-моравской

границы. Сопровождающий нас вооруженный охранник из Ченстохова ведет всех остальных в другой поезд, а нам говорит:

— Вы двое едете дальше сами через Моравию и Вену в Маннгейм, как обозначено в вашем путевом предписании. У вас на руках будет только этот документ. Повсюду — контрольные пункты. Если попытаете бежать, вас поймают и накажут.

Нам вручают путевые предписания. Дверь купе закрывается за человеком с карабином на плече. Никто нас не сторожит. Мы одни. В путевом предписании указано место назначения и адрес: «Маннгейм — акционерное общество Генриха Ланца».

## РЕЙНСКАЯ СТАЛЬ И РЕЙНСКОЕ ВИНО

Никто, ничто не мешает нам выйти, исчезнуть, попытаться найти надежных людей, рассказать все, чему мы были свидетелями. Сейчас мы всего в двадцати километрах от Оломоуца, родного города Карла. От усталости мы все время клюем носом или засыпаем, прислонив голову к плечу друга. С тихим упрямством мы будим друг друга и шепотом рассуждаем:

— Здесь повсюду слишком большой порядок, мы не продержимся, а это все может продолжаться еще очень долго. Тут тебя с ходу раскусят, потому что ты тут вырос. Уже по тому, как ты пожмешь плечами, они поймут твои мысли. Каждого, кому ты расскажешь о себе, ты сделаешь таким же преследуемым, как ты сам, и можешь себе представить, что они с ним сделают. И вообще, кто тебе поверит, что все тобой рассказанное — правда? Да нас примут за сумасшедших. И кто тебя спрячет и будет кормить — и как долго это продлится? И куда деваться двум таким оборванцам? В Германию, только в Германию. Здесь мы слишком бросаемся в глаза. У нас на руках такой замечательный документ, благодаря ему мы официально, легально существуем. Там, на Рейне, далеко отсюда, там нам все незнакомо, да и кто из ченстоховского лагеря может там оказаться? Так что едем дальше...

Мы сидим в полупустом купе вагона около двери. Дверь открывается, и появляется зеленая униформа — контроль документов.

— Но должны же у вас быть еще какие-то удостоверения личности.

— Они у нас были, но на руки нам выдали только эти путевые предписания. Нам сказали, что все остальные документы отошлют прямо на фабрику. И когда мы работали в организации «Тодт», наши документы тоже были у начальника.

Немолодой человек в зеленой форме еще некоторое время изучает нас. Кажется, мы не первые оборванцы, которые едут на работу, хотя, может быть, у наших предшественников документы были в большем порядке. Ну и что с того — ведь все данные указаны в путевом предписании, печать департамента труда с орлом и свастикой тоже на месте и, наконец, отметка «направлены на работу в фирму Генриха Ланца, акционерное общество, Маннгейм», а кроме того, мы сидим в нужном поезде, едем в указанном направлении.

На вокзале в Вене нам приходится ждать пересадки несколько часов, почти до вечера.

— Эй, погляди-ка, у того, в форме, нет руки.

— А вон тот без ноги, видишь, у него так аккуратно подвернута пустая штанина?

— Смотри, а у того на тележке вообще нет ног.

— А катит его однорукий.

— А вон инвалидное кресло. Слушай, да это же целая колонна. Один, два, три... восемь немцев в форме, и только двенадцать рук и девять ног.

Примерно через два часа после того, как мы отъехали от Вены, уже почти ночью, нас будит второй паспортный контроль. Он протекает так же, как и первый, только теперь я уже и сам убежден, что остальные наши документы отправлены на фабрику. Было бы несправедливо придирается к нам из-за этого. Мы снова закрываем глаза.

Взрыв... бензин... Штанда Лихтблау... Нет-нет, я в поезде на Маннгейм, а снаружи что-то взрывается.

Воздушный налет, бомбежка, — слышится рядом чей-то голос. Поезд стоит, иногда он сотрясается. Проходит долгое

время, прежде чем становится тихо. Издалека слышится протяжная сирена. Отбой, отбой воздушной тревоги, я впервые слышу эти слова, эти прекрасные новые слова. Вскоре после рассвета поезд останавливается на большой станции. Мы выходим.

Маннгейм-Людвигсхафен — город, раскинувшийся на обоих берегах Рейна в среднем его течении, индустриальная область на юго-востоке Германии. Машиностроение, химия, электротехника. Ну вот, сколько я всего знаю, а учитель географии поставил мне на экзамене на аттестат зрелости только «хорошо». А какое сегодня число? 24 сентября 1943 года?

Еще не прошло и двух месяцев, как мы ушли оттуда, с той стороны... А мне кажется, прошли не два месяца, а скорее два года.

Что это? Этот вокзал, этот город с таким трудом просыпается сегодняшним хмурым утром. Или тут все только приходит в себя после какого-то потрясения? Становятся видны обломки, которые я принял было за руины старой крепости, засыпанные известкой и штукатуркой. Э-э, да тут упали бомбы — совсем недавно, может быть как раз этой ночью. Разрушение, землетрясение, катастрофа — ура! Для нас это самое большое счастье, наша самая большая удача.

— Фабрика Генриха Ланца? Совсем близко, вот тут, по мосту через пути, а потом по улице налево.

И это улица? Разрушенные дома, как выпавшие зубы во рту у старика. Как однажды сказал Бредо Зайделю, там, наверху, в «бараке А»? «Приятель, ты там ничего не узнаешь, там исчезли целые улицы».

У людей на проходной черная униформа, у некоторых с красной отделкой. Мы таких еще не видели, да и название нам внове: заводская охрана. Один надевает очки, чтобы прочитать наши путевые предписания. Потом другой ведет нас мимо разных зданий и цехов, где стоит грохот, стук, гром, скрип и свист. Маленький смешной локомотив тащит по рельсам два больших обычных вагона. Во дворе перед зданием бюро стоит статуя чугунного литья: с бакенбардами, в старомодном долгополом сюртуке и цепочкой от часов на жилетке — наверно, это он, старый Ланц.

— Это основатель фабрики, да?

В бюро у большинства гражданская одежда, но на некоторых — униформы, какие мы уже видели, — зеленые, значит, это — полицейские. За столами, перед которыми мы стоим, все очень по-деловому. Улаживается какой-то спор между двумя рабочими, пришедшими сюда прямо из мастерской. Потом разбирается какой-то проступок, выясняется адрес. Стоящие перед нами — их лица, руки и спецовки испачканы жирными черными пятнами — иногда вставляют в свою речь кто польские, кто украинские слова. Из-за стола слышен только односложный немецкий:

— Иностранцы только здесь — не там. — Ага, значит, полиция здесь для них, для контроля и надзора.

Эта зеленая жандармская или полицейская форма выглядит вообще не такой угрожающей. Она поношена, вместо сапог из-под стола выглядывают ботинки на шнуровке, а поверх пристегнуты кожаные голенища. У нас дома в старом шкафу стояли такие же, кажется, еще со времен Первой мировой войны.

Трудно понять, что степенный пожилой человек в форме рассказывает второму в гражданском костюме. Очевидно, он говорит на местном диалекте. Но смысл его слов можно все-таки уловить: он и его семья сегодня ночью потеряли последнее пристанище, свой домик, они все разбирали завал. Тем временем он берет негнушимися пальцами наши путевые предписания. Он списывает все данные на какие-то карточки, вставляет их в картотеку, а две из картотеки дает нам. На нас он и не взглянул.

— Вот ваши пропуска на фабрику. Сделайте фотографии и приклейте сюда, потом возвращайтесь, и я поставлю еще одну печать. Жить вы будете в лагере. Это — общежитие фирмы для иностранцев. Оно находится за городом, но зато туда падает не так много бомб. Вот ордер на проживание. Деньги за питание и жилье будут вычитать из вашей зарплаты. — Мы берем свои пропуска. Последнее слово совсем внизу на печати действительно — «полиция».

Нет, еще не время успокаиваться. Теперь мы должны перейти к испытанному, последнему наступлению.

— Посмотрите, в каком виде нас сюда прислали. Мы потеряли всё, у нас нет приличной одежды. Мы хотим сохранить свои путевые предписания. Мы собираемся потребовать возмещения убытков.

Служащий в гражданском за другим столом вручает нам еще какие-то ордера. На штампе внизу стоит «Германский рабочий фронт» — тоже красивое выражение.

Лагерь «рабочего фронта» находится в полуподвальном этаже фабричного здания. Мы показываем наши ордера пожилому мужчине. Он, прихрамывая, ковыляет в заднюю комнату, возвращается с двумя тюками и кладет их перед нами на стойку. Мы развязываем один, и Карл тихо считает:

— ... десять штук. А как сложены и увязаны, посмотри на эти узлы. А эти короткие зимние куртки на вате — ты их сортировал или я?

Нас ведут на наше рабочее место. Это — кузнечный цех. Все вокруг черное, кое-где — раскаленно-белое и остывающее темно-красное, только эти три цвета в огромном цехе. Люди, как маленькие черти, уворачиваются от языков пламени, которые вываливаются из печей. Они словно фехтуют щипцами самых удивительных видов, отпрыгивают в сторону от раскаленных добела параллелепипедов, кубов, цилиндров, которые потом приобретают разные формы, в зависимости от того, как их с каждым ударом изменяют большие чудовища — падающие молоты. Нет, здесь не придется иметь дело со всепоглощающей смертью. И все-таки — здесь куются некоторые из ее инструментов. Вон там уже отформованные изделия, светящийся желтый цвет которых переходит в темно-красный и затухает, становится серо-черным — они выглядят как головки больших снарядов, гранат или чего-то такого.

Уже недолго до конца утренней смены. Пока мы только наблюдаем, каждый около своего молота. Закончив свою смену, мимо нас марширует колонна, по трое в ряд, в сопровождении охранника. Парни оборваны еще больше, чем мы. На некоторых грязных, слишком узких гимнастерках еще болтаются военные пуговицы. Когда они проходят мимо, на их спинах видны большие буквы KG. Как нас тогда спросила старуха? «Вы бежите из плена?» Gefangene — пленный,

Krieg — война. Значит, KG — военнопленный. Интересно, а как обстоит дело с их документами?

Место, где находится наше общежитие, называется Зеккенгейм. Электричка с чистыми белыми вагонами едет вдоль реки, это — Неккар. Мы выходим. Здесь сельская местность уже вплотную подходит к городу. Кое-где видны маленькие ухоженные поля.

«Стояла, думала цыганочка молода», — не над бараками, не над зеленым забором и черными соснами Треблинки, а в этом длинном здании, куда мы входим, похожем на дешевую гостиницу, звучит тот же самый громкий многоголосый хор. Наверху в бывшем зале, переоборудованном в спальню, там они бродят или лежат на двухэтажных нарах, покрытых соломенными мешками, и поют — жизнерадостные шумные парни. В отличие от своих соотечественников в Треблинке, эти, добровольно завербовавшиеся в оккупированной Украине на работу в «рейх», одеты в гражданское. Лица у них бледные от работы на фабрике. За большим деревянным столом играют в карты, из рук в руки переходят «гроши». Кто-то говорит по-польски, что хочет «скрутить папиросу», но вначале ему приходится нарезать табак от большого рулона. Он лежит на столе, и все могут им пользоваться. В этой области выращивают табак и виноград.

Слышится чешский.

— Вы чехи? — Вначале испытующие взгляды, потом, когда мы сняли шапки, радостные приветствия. — А, смотрика, ребята, да вы из тюрьмы...

Нечего пугаться, наши отрастающие волосы — доказательство того, что мы «свои ребята». Никто нас не будет ни о чем расспрашивать, если только мы сами не начнем рассказывать о себе. К нам приближается изящный блондин, который вообще не похож на своих горячих украинских земляков. Он обращается к нам подчеркнуто дружелюбно:

— Вы здесь новенькие, меня зовут Лео, я занимаюсь в лагере организационными вопросами. Дайте мне ордера на жилье и питание, которые вы получили на фабрике, и фабричные пропуска тоже. Я сегодня же схожу с ними в полицейский участок для регистрации. Вечером я вам все верну.

Сегодня прибыли еще трое новичков. Двое, кажется, поляки, третий — голландец.

Ну, понятно, нельзя же, чтобы иностранцы по одиночке ходили в полицию. Это делается организованно, одним человеком, все равно ведь все мы — только рабочая сила для фабрики, один ничем не отличается от остальных, главное, чтобы колеса крутились. «Все колеса должны крутиться для победы» — этот лозунг мы сегодня видели уже несколько раз, на фабричной стене, на локомотиве. Вечером белокурый администратор Лео раздает всем полицейские регистрационные бумаги, подписанные, с печатями. Такую же, очень похожую карточку с подтверждением, что ты «зарегистрирован в полиции по месту жительства», должен был иметь каждый у нас дома, еще до того, как немцы оккупировали страну.

— Друг, да это же настоящий официальный документ. Теперь мы есть на самом деле. Вот, это подтверждено в полиции: Владимир Фризак и Рудольф Масарек.

— При каких-нибудь проверках мы будем говорить, что остальные документы нам пришлось сдать на фабрику.

— Вот именно, а для этих удостоверений мы раздобудем красивые футляры. Наверняка здесь есть что-то вроде обложек для документов, без талонов, разумеется.

Несколько раз получив зарплату, мы приобретаем — без талонов — наш первый выходной костюм. Правда, выходить может всегда только один из нас, а второй лежит, завернувшись в одеяло на нарах в лагере. Но вскоре у нас обоих есть уже по воскресному костюму, так что мы можем вместе пойти в город или в кино.

Нигде нет табличек с надписью «Евреям вход запрещен» — ни в кино, ни на дверях кафе, ни при входе в парк. Да они ведь и не нужны. Здесь больше нет евреев. Этот город «очищен от евреев».

Первый фильм, который мы посмотрели в наших нарядных костюмах и в отличном настроении, был цветной: «Приключения барона Мюнхгаузена». Я не отрываясь смотрел, как Ганс Альберс (я его помнил — он был исполнителем героических ролей) в разгар битвы летит на пушечном ядре, в белоснежных гусарских рейтузах, черных лаковых



сапогах выше колен и красном камзоле. Я сидел в кинотеатре, далеко от Треблинки, в настоящей жизни, и следил за фантастическими приключениями барона Мюнхгаузена.

Не надо думать, что кузнецы у Ланца были такими силачами, которые, повязав кожаные фартуки, целый день били ручной кувалдой по наковальне. Зепп, у которого я учился вначале на кочегара, а потом на молотобойца, хоть и крупная туша, но выглядит, как старый медведь. При ходьбе верхняя часть туловища у него всегда перевешивает, так что ногам приходится при каждом шаге догонять ее. От старого медведя у него еще голос и хитрые глазки за маленькими овальными очками. Но что-то в нем есть и от старого деревенского кузнеца, который дома подковывал нам лошадей, — от него так же пахнет потом и раскаленным металлом. Даже если бы он был моложе, ему все равно не пришлось бы идти в армию. На правой руке у него после какого-то несчастного случая нет указательного пальца, он не мог бы нажать на спусковой крючок, а с его плоскостопием не мог бы и бежать в атаку.

Ганс, с пучками седых волос, выбивающимися с обеих сторон из-под кепки, такой маленький, что рычаг полностью опущенного трехтонного штамповочного молота достает ему до плеча. Да, и когда штамп весом в тонну монтировали в молот, он упал ему на ногу и разможил все пальцы. С тех пор молотобойцем у Зеппа работаю я.

Больше всего я узнал от Антона за те короткие минуты, когда он и Отто при пересменке сменяли меня и Карла.

Антон здесь — что-то особенное, потому что он действительно кузнец. Настоящий кузнец, учился этому дома, где-то в Северной Богемии. У него, единственного из нас, подходящая конституция для такой тяжелой работы. Только кожа не темная, какая бывает у настоящих кузнецов. А может быть, у Антона такая светлая кожа на всем теле, потому что он тщательно моется. Когда этот крупный, статный рабочий занят своим делом, кажется, что его большие руки производят какую-то хирургическую операцию на раскаленном желтом куске металла, зажатом в щипцах. После смены, уже переодевшись, он так чистит и трет до красна свои похожие на лопаты руки, что они выглядят, как у доктора в

больнице. Светлые, чуть рыжеватые волосы, еще влажные после душа, разделены на пробор, кепка надета набекрень. Его черные ботинки на шнуровке всегда блестят. У Антона, по-чешски Тонды, дома, наверное, целый набор для чистки обуви, да и здесь в шкафу — тоже.

Отто, по-чешски Ота, из Моравии. Уже этого достаточно, чтобы они с Карлом так хорошо понимали друг друга, когда меняются местами за молотом с педальным управлением. Правда, Антон смеется, говорит, то, что они куют — траки для танковых гусениц, — выглядит как рождественский пирог, но у них обоих на спинах рабочих спецовок белые соляные разводы от высохшего пота, как, впрочем, и у всех нас, работающих на «горячем производстве». Если учесть, что за смену они выковывают из длинных тяжелых цилиндрических заготовок 800—900 таких «кренделей», то, наверное, они поднимают за смену больше килограммов, точнее, тонн, чем мы на самых тяжелых молотах с ручным рычагом.

Хотя Отто тоже профессиональный кузнец, но по нему этого не скажешь. Рядом с Антоном он кажется мальчишкой-иностранцем: темная кожа, густые черные волосы, спадающие на лицо; ему все время приходится заправлять их под кепку. Оба, Антон и Отто, каждый день приходят из Хоккенгейма, где они живут. Когда они приехали сюда в 1942 году, здесь можно было хорошо заработать и жить — еще до воздушных налетов. Так утверждает Антон. Но Отто с простодушной улыбкой намекает, что для Антона все было связано еще с какой-то девушкой. С самим Отто не ясно, чего он хотел больше — не оставлять Антона одного, или заработать деньги, или поближе познакомиться с немецкими женщинами.

— А почему, собственно, вы не живете на частной квартире? — спрашивает нас однажды Отто во время пересменки. — Вы как чехи имеете на это право. Только украинцы и поляки и вообще представители «низших рас» обязаны жить в лагере.

А Антон добавляет:

— Ведь в лагере вас жутко надувают. Вы не получаете на руки ни талонов, ни продовольственных карточек и должны есть то, что вам дают. Те несколько чехов, что там остались,

слишком глупы и ленивы, чтобы жить самостоятельно. Сейчас в кузнечном цехе нас восемь чехов, и, кроме вас двоих, мы все живем на квартирах. Мы все получаем продукты за тяжелую работу — за работу в горячем цехе.

И Отто достает из своей старой потрепанной сумки, которую он повесил рядом с молотом, два куска хлеба, толсто намазанных смальцем.

— Да, это верно, — говорим мы потом друг другу. — Ведь мы лояльные чехи, мы имеем право жить на частной квартире и сами отоваривать продуктовые карточки. Господи, мы не позволим нас обманывать, мы хотим получить то, что нам причитается. И потом, лояльные чехи могут общаться и с женщинами...

Перед тем как съехать из лагеря, мы устраиваем там прощальный праздник. Мы достали у крестьянина из Пфальца 30 литров вина, а белокурый Лео каким-то чудом раздобыл хлеб и сало. А потом — «Ой при лужку, при лужку». Мы поем вместе с громкоголосыми украинцами песню про горячего коня, который вольно скакал по широкому лугу и широкому полю, и про казака, который был далеко не таким вольным, — но следим за тем, чтобы никто не догадался, откуда мы ее уже знаем.

Лео рассказывает нам, что хлеб и сало он получил от фрау хозяйки кабачка в соседней деревне и что он ее навещает в свободное время.

Моя бабушка обычно говорила, что переезд — это все равно что маленький потоп. Но наш переезд прост. Мы переносим свои маленькие чемоданчики и две пачки маргарина через несколько улиц. Ведь в Зеккенгейме все рядом. А на той улице, где мы теперь живем, дальше вообще идти некуда; строго говоря, это не улица, а пол-улицы: дома стоят только на одной стороне. Сверху из окон открывается вид прямо на поля. Участок с кустами табака напротив дома принадлежит нашему хозяину. Он там выкопал маленькое бомбоубежище и укрепил его бревнами. Этот «бункер» напоминает окоп времен Первой мировой войны, изображения которых мне так нравились в свое время.

Я проверяю, достаточно ли я чист, чтобы лечь в настоящую постель, и удивляюсь, что белая простыня и красное

с белым покрывало такие чистые. Ни одного пятнышка, ни одного кровавого следа. Я удивляюсь, что в нашей комнате все вещи остаются на тех местах, куда мы их положили, — все время, пока мы на фабрике. И вещи в шкафу не тронуты.

Недавно, когда Карл работал в утреннюю смену, а я в ночную, я, оставшись один, лежал в постели и не двигался. Я только рассматривал покрывало, одеяло, стены и вслушивался в тишину. Потом я еще какое-то время стоял в «своей» пижаме у окна и всматривался в темные замерзшие зимние поля, не покрытые снегом. Да, вот оно как — жить «на частной квартире». Мы живем на частной квартире.

Верхняя комната в домике принадлежала двум сыновьям нашего хозяина, господина Готтфрида К., и его жены. Мальчики спали на этих двух кроватях, пока не стали достаточно взрослыми, чтобы надеть военную форму. Один уже никогда не будет спать в своей постели, а второй только после войны, если вернется. А пока старики решили сдать верхнюю комнату. В отличие от всех остальных, кто не знает, что сейчас, во время войны, делать с обесценившимися деньгами, у пенсионеров и тех не густо. А когда к ним в дом пришли с кружкой для пожертвований и мешком из «Зимней помощи фронту», старик даже не стал говорить о своем положении, он только сказал:

— Я уже пожертвовал. Моя жертва лежит где-то под Кременчугом.

Такие высказывания мы частенько слышим от нашего хозяина. Трудно судить, говорит ли он так по своим давним убеждениям или ему уже просто все равно, после того как погиб его сын, а сам он из-за язвы лишился работы каменщика и был вынужден уйти на пенсию. В то время как наш хозяин все больше худеет, у его жены от сплошных забот становится все больше морщин. Она обо всем заботится и за всеми следит, потому что делать надо так и не иначе, а если что-нибудь не сделать как надо, то потом будет еще больше забот.

— По крайней мере один раз в день молодые люди вроде вас должны есть нормальную домашнюю еду, особенно если у них такая тяжелая работа. Вы будете готовить себе в

нашей кухне. Я покажу вам посуду, которой вы можете пользоваться, и буду присматривать, чтобы у вас на плите ничего не пригорело. Еду кладите себе, как положено, на тарелки, приборы берите вот здесь, в ящике, и спокойно кушайте тут в тепле за столом. Разумеется, после еды вы должны будете помыть за собой посуду и все поставить на место. Если во время воздушной тревоги вы окажетесь дома, то возьмете свои вещи и пойдете с нами в наш бункер на поле.

«Да, да — если вы будете больше времени проводить на кухне, где пол все равно моется каждый день, то наверху вы будете пачкать меньше. Да и топить наверху не нужно, раз вы там только спите. Нашим мальчикам, пока они были дома, я тоже не разрешала особенно много разгуливать по дому. А при воздушной тревоге вы можете собрать и наши вещи и помочь нам, а если что-то случится, то мы все вместе будем тушить и спасать, что еще можно будет спасти. После сирены ни в коем случае нельзя оставаться в доме. Могу себе представить неприятности с властями, если с вами в доме что-нибудь случится...» — Вполне возможно, и такие мысли проносятся в голове нашей хозяйки, под волосами, собранными в маленький пучок, одновременно с тем, что она говорит вслух. А может быть, добрая старуха вообще ничего подобного не думает, а я просто — скотина, что подозреваю такое. Будь ее волосы совсем седыми, а лицо еще больше сморщенным, она была бы совсем как старухи *там*, в самый раз для... Ну, госпожа К., обопритесь на мою руку, и мы пойдём — к доктору, в лазарет...

Вот воздушная тревога снова свела нас вместе во время пересменки. Я сижу рядом с Карлом, мы уже в спецовках, и смотрю, как Антон и Отто после смены моются в душе. К нам подсел еще Генрих Томан, самый старший и опытный из всех чехов в кузнечном цеху, а может быть, и вообще на фабрике. Волосы у него уже седые, но еще густые, зачесаны назад. Он худой, как жердь. Если бы вместо спецовки, когда-то синей, а теперь грязной и черной, на нем были серые брюки, спортивные полуботинки, пиджак свободного покроя, а на открытой шее — тонкий платок, если бы испачканное сажей лицо было чисто вымыто, выбрано,

может быть, слегка припудрено, что подошло бы к его седым волосам и светло-голубым глазам, то из Генриха получился бы элегантный мужчина зрелого возраста, который много лет провел где-то в экзотических странах и многое пережил.

Генрих пользуется репутацией лучшего крановщика в кузнечном цехе. Все молотобойцы, работающие на тяжелых штамповочных молотах, когда им надо вмонтировать новые штампы или вообще нужен кран, предпочитают видеть наверху, в кабине крана знакомую голову Генриха в берете.

— Вот вы, — Генрих поворачивается к нам, — ведь вас взяли из-за недостатка рабочей силы и только мельком спросили, добровольно ли вы хотите на работу в рейх. Вы так выглядели, когда приехали... Нет, вы не должны исповедоваться перед нами. Мы все здесь добровольно. Мне нужно было быстро и как можно дальше исчезнуть с последних гастролей. А Отто... Эй, повеса, сознайся, что дома ты не мог достаточно быстро лишиться целомудрия и поэтому отправился в рейх.

— Я признаюсь вам, господин Томан, — Отто единственный, кто говорит Генриху «вы», — но только после того, как вы нам скажете, что у вас общего с Томасом Пехом. Говорят, вы договорились с мастером, что двенадцатичасовые смены вы всегда работаете по очереди с Пехом, потому что у вас одна вставная челюсть на двоих и вы меняетесь ею на проходной.

— Томасу Пеху я помог, потому что он, бедняга, попал сюда из-за летающей свиньи на Пильзенской бойне. Однажды какой-то представитель немецких оккупационных властей случайно шел вдоль внешней стены городской бойни в Пильзене. И тут, в вечерних сумерках, вдруг через стену перелетает разрубленная пополам свинья и падает прямо к его ногам. Ни талона, ни продуктовой карточки нет. Вот тогда у Томаса, рабочего бойни, вдруг появилось настоятельное желание записаться добровольцем на работу в рейх, уже в третий. А после того как они его подготовили к поездке, он потерял несколько зубов.

Антон выключает душ и тщательно вытирается полотенцем. Его вопрос относится к нам:

— А как вы устраиваетесь с женщинами, если у вас дома и хозяин, и хозяйка? Они же наверняка никого не разрешают приводить. И вам нужно все время уходить из дома.

— Они устроились не так, как вы двое, — в доме только хозяйка, а хозяин на поле боя, неизвестно где. Но можешь быть уверен, вам тоже подвернется что-нибудь толковое. Германию все ее мужчины покинули, бомбы падают все чаще и все плотнее. — Генрих кладет на скамейку рядом с собой жестяную табакерку, открывает ее, разламывает и измельчает пальцами два окурка и смешивает их с табаком в табакерке. И, только начав скручивать сигарету, продолжает: — Кроме того, любая женщина испытывает любопытство к тому куску мяса, который она еще не знает. К маленькому кусочку мяса, меньше того, что потребовал венецианский купец Шейлок.

Такое сравнение в устах лучшего крановщика кузнечно-го цеха нас не удивляет. Генрих был актером до того, как немцы оккупировали Чехословакию...

— Сколько тебе лет, Отто, двадцать? Мне сорок восемь. Это вроде бы два раза по двадцать четыре, но все-таки не два раза по двадцать четыре. Тут уже приходится подумать, прежде чем выстрелить из своего оружия, даже если оно заряжено. А такой гуляш, какой я себе готовлю, мне все равно ни одна хозяйка не сделает, да, кроме того, моя уже слишком стара.

— Моя тоже уже не молоденькая, но такая чистенькая, такая ухоженная, — рассказывает Антон. — Теперь у меня никаких забот. Все продуктовые карточки и ордера я отдаю ей. Она мне всегда дает на работу бутерброды, а когда я прихожу со смены — горячую еду.

— А моя старушка всегда достает вино к субботнему ужину, — подключается Отто. — Вот, смотри, это носки ее мужа.

— Вот видишь, какой ты, — откликается Генрих. — Он сражается за тебя на фронте, а когда вернется, у него в шкафу не будет даже чистых носков. Собственно, если подумать, то это — твоя историческая миссия в этой войне. Твоя старуха станет еще своим внукам, если они у нее будут, рассказывать, что чехи — вполне приличные люди. По мне, так нужно, чтобы сюда приехало еще больше иностранцев, что-

бы еще больше иностранцев лежало, обняв одиноких дам, и чтобы они шептали друг другу: обними меня крепче, люби меня, пока бомба или конец войны не разлучат нас.

Отбой воздушной тревоги. Антон и Отто идут домой, а я снова включаю печь. Во время воздушной тревоги она была установлена на самую маленькую мощность и поэтому остывала, сейчас она не желтая, а темно-красная.

Карл собирается заглянуть к Герте в магазин и взять что-нибудь на обед и на ночную смену. Я тем временем сношу наши чемоданы и коробки из-под маргарина вниз в коридор. Самые необходимые пожитки наших хозяев тоже здесь. При воздушной тревоге все это относится в бункер на поле. Если мы дома, то, с нашим участием, это происходит мигом. Если мы на работе, то нашему хозяину приходится все выносить одному. Тогда между собой мы называем его «кавалером бриллиантовых подвесок», правда, он ничего не знает об этом высоком звании. Дело в том, что бритвенные принадлежности с бриллиантами лежат в одном из наших чемоданов.

Я выглядываю из окна, не идет ли уже Карл. Сегодня он немного тороплив, не показывает мне, как обычно, сколько всего Герта положила ему в пакет. Он размахивает газетой. Подбежав, рывком сует мне под нос первую страницу. «Они высадились», — написано там. Когда? Вчера. На газете дата — 7 июня 1944 года.

Высадились... Они уже здесь — на этом берегу. Ребята, союзники, постарайтесь прийти как можно скорее, и будьте осторожны, не наступите на мину, которую я здесь выкопал...

## СМЕШНЫЕ ГОРШКИ У НИХ НА ГОЛОВАХ

Во время одного из ночных налетов в январе 1945 года крышу кузнечного цеха срезало начисто, как ножом. С этого времени мы работаем кровельщиками. Мастер послал нас наверх, чтобы мы попробовали восстановить крышу с «настоящими» кровельщиками. Это французские военнопленные, у которых от голубовато-серой униформы со временем остались только длинные тяжелые шинели и — у очень не-



многих — береты на головах. Вероятно, не все они — «настоящие» кровельщики. Но они вызвались на эту работу, потому что никто из охранников на такой высоте не будет за ними следить. Когда следующий воздушный налет снова снес только что положенную крышу, Франсуа, Пьера и Клода, с вечными самокрутками в углу рта, больше нигде не видно. Может быть, их пристанище в столовой бывшей гостиницы где-то в Шризгейме, Оггерсгейме, Фирнгейме тоже полностью разбомбили.

Теперь мы одни тут наверху. Ни один мастер за нами сюда не полезет. Мы — это снова Антон, Отто, Генрих, Карл и я. На крыше, на высоте двенадцати метров над полом из чугунных плит, мы кажемся себе спортсменами или циркачами. Мы ходим, балансируя, по балкам и свежесколоченным перекрытиям, бросаем друг другу черепицу и соревнуемся, кто элегантнее ее кинет.

Так мы проводим часок, потом заползаем на ровное место, которое не видно снизу, и греемся на солнышке. Сейчас, в середине февраля, здесь на Рейне оно такое же теплое, как у нас весной.

Мы незаметно наблюдаем за тем, что происходит внизу. Весь кузнечный цех остановлен. Отверстия печей пусты, кузнечные молоты молчат. Ничто не горит, ничто не стучит, нигде не течет, брызгая в разные стороны, раскаленный металл; нет даже темно-красных отсветов остывающих, уже готовых «изделий». Повсюду серое, холодное железо, полная ожидания тишина. Кажущиеся отсюда совсем маленькими люди внизу стоят, беседуя, позади высоких молотов и печей, чтобы их не было слишком хорошо видно, бродят по цеху, ненужные и лишние, как старики, доживающие свой век без детей.

Сцену внизу оживляют две женские фигуры.

— Видишь, вон та куколка из теплицы, Луиза, сколько ей? Восемнадцать? Девятнадцать? Она сама этого хотела. Так и сказала: не хочу умереть под бомбами девственницей.

— Зато моя Герда — опытная бой-баба, у нее сзади всего так много, впрочем, и спереди — тоже. В свои двадцать пять она уже кое-что повидала и несколько битв проиграла.

— Ты говоришь «бой-баба», так что же она так опросто-волосилась? Долго никто ничего не замечал, но потом все-таки вышло наружу, что она отдает предпочтение тому поляку, что работает на педальном молоте во втором ряду. Немка и поляк — это однозначно наказуемо. Недавно Анна-мария принесла официальное заключение об этом и читала его вслух. Спать с поляком — это тяжкое нарушение заповеди о чистоте расы, с украинцами — тоже, с русскими — а это сплошь военнопленные — ну, за это могут даже побить камнями. Но вернемся к Герде: через окно бюро видели, как ее мощная грудь сотрясалась от рыданий. Больше всех бушевал заместитель начальника производства, заместитель по политчасти, который не упустит случая залезть под юбку и вообще очень интересуется бабами. Дело замяли. Наверное, Герда знала, как можно быстро искупить свою вину.

Я перестаю следить за разговором. Во мне всплывают собственные воспоминания. Теперь я знаю все виды молотов и на всех могу работать и молотобойцем, и кузнецом. Я уже работал на всех больших печах и знаю, как правильно регулировать мощность, чтобы железо получилось чистым, без окалины. Я все хотел знать — знание, думал я, делает меня полноценным человеком. И вообще мне здесь нравится. Дома я думал, что вся Германия — пустырь, что здесь мало что произрастает, все люди мрачные, а женщины уродливые. Оттуда, из прежней жизни, из которой мы с Карлом вырвались, я не мог себе представить никого из них без эмблемы с мертвой головой. Но может быть, именно из-за того ада все здесь кажется мне таким замечательным — даже жар у печей и молотов, от которого перехватывает дыхание. Может быть, потому этот кусочек Германии и представляется мне большим садом, в котором тут и там разбросаны мастерские. Или и в самом деле нам двоим выпало большое счастье, что нас отправили именно сюда, на Рейн.

Высоко наверху, так высоко, что из-за солнца их почти невозможно увидеть, летят с четкими интервалами какие-то истребители. Временами доносится рокочущий гул тяжелых машин. На сирены уже нельзя полагаться. Американцы, англичане и французы, говорят, в некоторых местах уже вы-

шли на тот берег Рейна. Их самолеты оказываются здесь раньше, чем успевают завывть сирены.

Вдруг сверху раздается свистящий звук, он становится все резче. Что-то несется прямо на нас и прижимает нас к крыше. Мы лежим ничком, прикрыв головы руками. Вой сменяется треском очередей.

— Их еще тут не было, штурмовиков. Впервые прилетели. — Когда вой становится слабее, мы поднимаем головы. — Давай посмотрим, во что они превратили фабрику.

Во дворе Генрих в берете и перемазанной маслом и сажой спечовке становится перед статуей основателя, Генриха Ланца, в ту же позу: одна нога выдвинута вперед, правая рука заложена за отворот пальто.

— Смотрите, он прострелен навывлет, но все еще стоит. Я бы так не смог. Ну, ребята, это — конец. Вы когда-нибудь играли в шахматы? Знаете шахматные термины? Да вряд ли, вы ведь не так часто после театра заходили в кафе. То, что сейчас начинается, мы называли в шахматах «дело техники».

С каждым днем все меньше людей приходит в цех. Русских военнопленных с буквами KG на спинах тоже не видно. Не видно и шляп итальянских берсальеров, правда, без перьев — перья отрезали в конце 1944 года, когда этих итальянцев прислали к нам за отказ воевать на стороне немцев.

Трамваи больше не ходят, поезда тоже. Антон и Отто уже несколько дней не приезжают из Хоккенгейма. Мы приходим пешком из Зеккенгейма для того только, чтобы оглядеться на фабрике и посмотреть, что с Генрихом. На электричке дорога занимала двадцать минут, сейчас мы добираемся до Маннгейма часа три, на улицах завалы, налеты не прекращаются. Город опустел. Все куда-то ушли, попрятались. При этом я чувствую — они ждут, мы все ждем. Чего? Мы ждем тех, кто сейчас на той стороне Рейна. Ждем, когда они придут, когда все закончится. Господи, как это будет — конец, а для нас — начало? Чуть, ничего я не могу себе представить, ни о чем не могу думать.

Мы находим Генриха перед его квартирой недалеко от фабрики. Он прокладывает себе путь к входной двери когда-то бывшего двухэтажного дома и к своей комнате на первом этаже. Отодвинув только самые крупные обломки, он про-

бирается через обвалившиеся кирпичи, штукатурку и битое стекло. Только его одного и видно на безлюдной, лежащей в развалинах улице. Мы решаем, что он должен переехать к нам, в менее опасное место за городом. Сами мы недавно тоже переехали, еще на несколько кварталов подальше от Зеккенгейма. Добрая старая фрау К. все-таки слишком нас опекала и давала нам слишком мало свободы. Новая хозяйка недавно перебралась с ребенком за город и оставила в полное наше распоряжение трехкомнатную квартиру. Так что места у нас более чем достаточно.

Мы сразу же начали упаковывать пожитки Генриха.

— Генрих, у нас в Зеккенгейме еще все окна целы, а за ними — чудный вид на поля. Откуда у тебя столько чемоданов, откуда так много вещей?

— Ну, когда здешние женщины узнавали, что их мужья больше не вернутся, или просто-напросто когда долго не получали от них весточки, они приходили и приносили — одна — одно, другая — другое. Наверное, когда я их утешал, они понимали, что за моей потасканной внешностью скрывается тонкая и добрая душа. — Генрих привязывает чемоданы к двухколесной тачке. — Этот экипаж я заработал во время переезда последней дамы.

— Завтра утром к нам переезжает и Аннемария. У нее есть велосипед, на нем еще вполне можно ездить, но еды у нее нет совсем. И в нашей огромной квартире уже не найти ни крошки.

Когда мы в поисках еды забираемся в подвал представительного дома в разрушенной части города, нас окутывает пьянящий аромат.

— Милые люди, еду они забрали с собой, а вино унести не смогли, поэтому проткнули все бочки, чтобы оно вытекло.

— А может, здесь побывал кто-нибудь до нас?

— Ну что ж, вино и само по себе должно быть питательным. Нет нужды лакать из бочек, вот несколько полных бутылок.

Мы выходим из подвала и щуримся на солнце. Тут сверху раздается вой, сопровождаемый треском автоматных очередей.

— Вот видишь, почему еще полезно вино? Вон как быстро ты упал на землю. — Карл лежит на животе, бутылки он прикрывает руками. В следующем погребке, до которого мы добрались, он разжимает руки, и обе бутылки разбиваются об пол. Там стоят две большие оплетенные бутылки.

— Черт возьми, какой это по счету погреб? Пятый, шестой? И повсюду только вино, одно вино. Нигде ни кусочка засохшего хлеба, который можно было бы размочить в вине.

На разрушенных стенах, которые больше ничего не разделяют, ничего не охраняют, да, собственно, уже и не являются стенами, я вижу объявления и лозунги, от которых пестрит в глазах. «Все колеса должны крутиться для победы». «Враг подслушивает». «Отец умер. Вернер с семьей ушли в Шварцвальд». «Celui qui pille, sera comdamné á mort. — За мародерство — смертная казнь». «Один народ, один рейх, один фюрер».

Ты, гадина, вот я стою на одной из твоих развалин и смотрю на тебя, упиваюсь твоим вином и видом того, как ты подымаешь. Ты знаешь, кто я, кто мы? Какое свидетельство мы несем в себе? А сейчас, сейчас нам выпало еще и счастье быть свидетелями твоего конца, твоей агонии.

Стоп, минутку, это же просто невероятно, что я это вижу. Итак, вот здесь когда-то стоял симпатичный домик. Внизу была кухня, столовая, гостиная, наверху — спальни, и ванна у них тоже была. Вот только дома я больше не вижу; от него осталась одна сточная труба, а наверху на ней каким-то чудом висит ванна — ничего, кроме ванны, насаженной на трубу. Жить здесь больше нельзя, можно только мыться — если заберешься вверх. Ну, давайте, давайте, живо, живо, быстрее — мыться, для дезинфекции, пока вода не остыла.

Ну что ж, мы и сами могли бы догадаться, что никто не станет менять еду на вино. Нам удалось раздобыть только несколько сигарет. Мы сидим дома в темноте и топим маленькую круглую печку — вечера в конце марта еще прохладные, да надо высушить отсыревшие сигареты, да к тому же мы решили, что на ужин у нас должно быть что-нибудь горячее — глинтвейн, раз больше ничего нет. На улице раздается грохот, звон, небо распадается на пылающие клочья

с красноватыми, коричневатыми ослепительно-желтыми краями.

— Это — артиллерийский огонь, значит, артиллерия тоже уже здесь.

Теперь мы уже не вдвоем, а втроем. А у одного из трех шансов больше, чем у одного из двух. Да и вряд ли мы могли подобрать более подходящий фон для того, что хотим рассказать Генриху, чем то, что происходит снаружи.

— Генрих, выпей как следует и слушай. Мы хотим дать тебе свидетельские показания, чтобы ты все знал, на тот случай, если мы двое...

К тому времени, когда за окном в тишине — мы и не заметили, когда стало тихо, — раздастся птичий щебет, предвещающий рассвет, Генрих знает все. Он знает о конечной станции, окруженной зеленым забором, о вокзале с надписью «Треблинка», о душевых с отравляющим газом, о «лазареете» с символом Красного Креста. Он знает имена членов зондеркоманды СС в Треблинке, настоящие имена и прозвища. Он знает о восстании 2 августа 1943 года. Генрих стоит около маленькой круглой печки, иногда он подкладывает в нее изрубленные на дрова стулья, так что темная комната вдруг освещается красным светом, время от времени он ощупывает разложенные сигареты и закуривает самую сухую.

— Значит, ребята, вы — евреи. Кто бы мог это про вас подумать — в цеху, около печей, около молотов. И вы говорите, что там был, может быть, целый миллион и что, наверное, только вы двое...

Необычный шум на улице вырывает нас из дремоты около теплой печки. Под нашими окнами бегут люди с тачками, рюкзаками, корзинами. Наперерез этому потоку по направлению к нашему дому толкает свой велосипед Аннемария. У нее два чемодана, один прикреплен сзади к багажнику, другой — спереди, на раме.

— Все идут на сортировочную станцию. Говорят, там стоят разбомбленные составы. Вагоны, полные продуктов, — рассказывает она, пока мы вносим в дом ее чемоданы и велосипед. Разве сейчас можно оставить велосипед на улице!

Даже если поставить его на задний двор и повесить на него замок, все равно через минуту его уже не будет.

— Итак, господа, вперед! Берем наш двухколесный истребитель...

— Аннемария пока будет поддерживать огонь в печи.

Сортировочная, куда от нас быстрее всего пройти через поле, — одна из небольших товарных станций, которых много вокруг города. До сих пор американцы сбрасывали бомбы очень метко. Ошибись они примерно на километр в нашу сторону, вероятно, у нас сейчас не было бы квартиры, а может быть, и чувства голода. Когда мы поднимаемся на маленький пешеходный мостик, чтобы с него спуститься вниз, прямо к рельсам, перед нами открывается потрясающая картина: из разломанных, лопнувших по швам вагонов вываливаются покрытые копотью и шлаком ящики и коробки. Неизвестно от кого, неизвестно кому. Огромное количество бесхозного добра, которому угрожает порча.

Уже нельзя понять, отлетела ли дверь вагона из-за взрыва или ее отломали человеческие руки. Генрих стоит на подножке одного из вагонов. Он полон шляп. Генрих берет одну за другой и кричит нам с Карлом:

— Ты какую хочешь? Эту? Или эту? А ты?

Шляпы величественно парят в воздухе, а Генрих, провинциальный актер из Богемии, начинает декламировать балладу из «Сирано де Бержерака»:

Свой фетр бросая грациозно,  
На землю плаш спускаю я...

Два вагона на соседнем пути поднялись на дыбы, как два коня, и сцепились друг с другом. Какая-то женщина с лицом, обсыпанным мукой, и волосами, похожими на белый парик эпохи рококо, прижимает к груди два белых мешочка. Она разговаривает с каким-то мальчишкой. Кажется, она обещает отдать ему оба. Рядом вагон, завалившийся на бок, словно упавшая корова.

Стоп, а что это в другой половине вагона? Английские надписи на коробках с желтым порошком: яичный порошок. Блоки сигарет, «Lucky Strike». В другом углу вагона в двух ящиках оплетенные бутылки — вино, снова вино, но этого

сорта у нас еще нет: кьянти! Наверное, это добыча из Италии. А может, это — посылка Красного Креста? Тогда все в порядке. Мы как раз нуждаемся в помощи Красного Креста, разве нет?

Наверху на насыпи появляются люди в зеленой форме, раздаются выстрелы. Все быстро прячутся. Кто-то говорит, что те два иностранца, что лежат на насыпи недалеко от пешеходного мостика, попали под бомбежку. Другой возражает, что их расстреляли жандармы, проходившие мимо. «За мародерство...»

Сколько яиц может быть в этой кучке порошка? Двадцать? Тридцать? Попробуем-ка смешать этот порошок с маргарином, который тем временем «организовала» Аннемария. Яичница не то из двадцати, не то из тридцати яиц, кьянти в таких красивых оплетенных бутылках, и все это без единого кусочка хлеба, без единой картофелины. Мы раскачиваемся на стульях, Карл размахивает пустой бутылкой, держа ее за петельку оплетки. У Генриха глаза сейчас запали почти так же глубоко, как тогда во время воздушной тревоги, когда его засыпало.

— Муку и картошку унесли у нас под носом, пока я дурчился со шляпами. И не надо было сразу уходить, когда полицейские прошли. Йезус-Мария, там в вагонах наверняка еще были и мука, и картошка. Аннемария не должна из-за нас жить впроголодь.

— Генрих, очень скоро станет темно. Мы не успеем вернуться. Они пристрелят нас, как тех двоих сегодня днем.

— Да ты никак боишься?

— Что? Кто? Я?

— Но кто-то должен остаться здесь с Аннемарией и сторожить квартиру. А двое пойдут.

Карл остается, Генрих и я отправляемся. Скоро вечер. Дорога через поле, как и все вокруг, тиха и пустынна. Примерно на полпути из-за кустов появляются согнутые фигуры в форменной одежде.

— Наверно, это старики и дети из фольксштурма, и несколько нормальных солдат, которые здесь еще остались. Выглядят не очень злобными. В любом случае вернуться мы тоже не можем.



— Стой, кто такие?

— Мы вам скажем честно. Мы работаем на фабрике Ланца и живем тут поблизости. У нас дома совсем нет еды, вот мы и подумали, что найдем что-нибудь в разбомбленных вагонах на сортировочной станции. Утром мы видели, что люди что-то оттуда несли...

— Это было утром, а сейчас американцы обстреляли пешеходный мостик совсем с близкого расстояния.

— Но...

Генрих отмахивается и следит за взглядом старика, направленным на нашу тачку. Чтобы сделать ее более маневренной, мы оставили на ней только одну ручку вместо двух.

— Можно?

— Ну ладно, только осторожно. — Двухколесная тачка превращает нас в местных. — Идите, один черт, всё — дерьмо.

Чем ближе мы подходим к пешеходному мостику, тем громче, кажется, дребезжит наша «телега». Мы поднимаем ее и тихо сносим вниз. Когда мы скользим от вагона к вагону, мне в какой-то момент кажется, что кто-то перебрался через мост. Я делаю Генриху предупреждающий знак. Мы заползаем в вагон и прислушиваемся.

— В этой тишине можно подумать, что тут бродят какие-то рабочие сцены с бутафорской головой в руках. — Генрих замолкает, потом начинает причитать. — Нет, нет, этого не может быть, но знаешь, приятель, я начинаю верить, что темные силы играют с нами — посмотри, опять оплетенная бутылка, она полна спирта — чистого спирта — да в ней литров двадцать пять, а картошки нет, ни одной картофелины. Ну, за спирт нам удастся получить и еду — но уже не сегодня.

Взобравшись на мостик, мы устанавливаем бутылку на тачку. Я толкаю ее сзади, а Генрих поддерживает бутылку.

— А что мы скажем дядькам в форме, если они спросят, что у нас на тачке вместо картофеля?

— Скажем, взяли это для них и для себя как дезинфицирующее средство. А может, их там уже нет. Может, они уже дома, спать ушли.

На дороге между мостиком и немногочисленными домишками наша тачка так шумит, что мы начинаем говорить в полголоса.

— Стой, — и хотя голос приглушенный, негромкий, мы застываем на месте. — Хэнде... — Это может означать только «руки вверх!».

Мы оборачиваемся на голос. Из отверстия, где раньше было окно первого этажа, блестят два маленьких кружочка. Мда, руки вверх — а если я отпущу ручку тачки, то она потеряет равновесие, бутылка соскользнет, будет грохот — и они выстрелят. Поэтому я поднимаю вначале свободную левую руку, а правую — очень медленно, чтобы при необходимости снова быстро схватиться за рукоятку тачки. При этом я слежу за руками Генриха. Одну он уже поднял, вторую, которой он держит горлышко бутылки, он поднимает вверх так ловко, что перед этим ему удастся медленно столкнуть бутылку с тачки. Вот хорошо, теперь и я могу наконец отпустить ручку, и в конце концов мы поднимаем руки вверх.

— Эй! — Это звучит так, словно мы должны подойти ближе. Один, два, три шага, фигуры в полутьме дома вырисовываются четче.

— Что это у них на головах... — бормочет Генрих, — что за странные горшки? Да это же они!

Господи, как сказать по-английски «не стреляйте»? Чехи, Czech — это я сказал или не я? Все равно, сейчас они уже не стреляют, один показывает жестом, чтобы мы подошли к ним, за дом, они снова направляют на нас свои короткие карабины, когда мы хотим их обнять. По-английски ничего не получается. Я знаю только несколько слов. Но один из них говорит, коверкая слова, на смеси польского и английского:

— Где немцы — the Germans?

Темноту вокруг нас прорезает летящий со свистом снаряд, второй, третий, потом сразу несколько. Над головами возникает полосатое облако от сверкающих и свистящих снарядов. Мы бежим наискосок через сады и прячемся за домами. Мы знаем, что здесь участки отгорожены друг от друга не обычной изгородью, а только низко натянутой проволокой. Но наши американцы этого не знают. Тощий парень с плетеным ремнем на кобуре, которого ведет Генрих, все время спотыкается о проволоку. Генрих ловит его и вос-

торженно кричит ему по-чешски, перекрикивая шум стрельбы:

— Так кто из нас пьян — ты или я?

Большинство немцев в форме действительно дома — ушли спать к своим мамочкам. Немногих оставшихся на посту и нескольких гражданских из окрестных домов американцы сгоняют в подвал. Нас они отправляют в другое подвальное помещение, где мы, может быть, сумеем найти что-нибудь съедобное. У них с собой никакой еды нет. Мы получаем от них только сигареты. Итак, ночь нам придется провести в подвале.

— Проше — пожалуйста, — говорит мне тот, который много знает польский, давая мне прикурить от своей зажигалки. Только теперь я вижу, что лицо под очень большим шлемом, совершенно непохожим на немецкие, совсем молодое. Он, наверное, моложе меня. От своего отца он выучил всего несколько слов, когда еще ребенком приехал в Америку. Может, я должен прямо сейчас рассказать этому мальчику с таким смешным горшком на голове, что произошло там, откуда он сам родом? Глупости, чушь, он сейчас думает только о том, чтобы его самого не убили. Сверху слышны стоны. Дверь за нами закрывается, мы с Генрихом одни в подвале.

— Рудольф, скажи, что сейчас после всех бочек вина ты не хочешь ничего, кроме консервированных фруктов — вишен, абрикосов, грушевого компота. — Генрих с зажженной спичкой в руках осматривает полки, на которых стоят только банки с домашними консервами, пустые и полные. — Сразу видно хозяйку, приятель, вот это была бы хозяйка! Но нет, все-таки нет, она бы все точно отмеряла, держала бы меня в голодном теле. Это же консервы еще от прошлогоднего урожая. Она их подсчитала и распределила на целый год. Сейчас мы вот эти две полочки освободим и возьмем доски, чтобы не спать на голом цементном полу. Но утром нам надо подняться рано, потому что этот ударный отряд, если я все правильно понимаю, тут долго не пробудет.

Когда на рассвете Генрих меня будит, повсюду царит тишина. Американцев не видно. Мы открываем дверь в то по-

мещение, куда согнали немцев. Они смиренно сидят на скамейках, спиной друг к другу. Они не знают, что дверь уже открыта. Наверное, американцы повернули ключ, прежде чем уйти.

— Что с нами будет? — спрашивает старая женщина, очевидно имея в виду и старика, который сидит рядом с ней. Они видели нас вечером вместе с американцами. Значит, с ними будет так, как мы сейчас скажем.

— Ничего, ничего с вами не будет, если вы и дальше будете тут тихо сидеть, пока мы вам не скажем...

«Ничего с вами не случится, — думаю я, — только сверху, через зарешеченное вентиляционное окошко вам в камеру пустят немного дезинфекции».

Генрих закрывает дверь и снова поворачивает ключ.

— А теперь у нас есть часок времени, чтобы все-таки поискать картошку.

Мы бежим вверх по лестнице. Перины и матрасы разрезаны, покрыты пятнами крови, шкафы распахнуты настежь, дверь в кладовку — наверное, она была заперта — взломана, все проколото штыками, повсюду опустошение, все испачкано, покрыто пятнами, ко всему прилипли белые перышки.

— Вот так солдат, у которого не прикрыт тыл, защищает себя, чтобы на него кто-нибудь откуда-нибудь не напал. Наверное, у них здесь был раненый. Стоны были слышны даже внизу. А может, они разозлились, потому что кто-то стрелял из засады. — Генрих поднимает с постели бинокль, осматривает его и читает надпись. — Париж, наверное, украл или купил на черном рынке во Франции, не подозревая, что теперь он попадет в руки вот такого типа из Богемии. Ты только погляди на это, они не взяли из кладовки ничего, кроме яиц. Вон разбитая скорлупа. Все остальное может быть отравлено — так они думали, но мы-то так не думаем. Посмотри, как они испортили этот кусочек сала, а всю муку растоптали ногами, вот свиньи.

Пока мы собираем брошенные, едва докуренные до половины окурки, гнев Генриха на американцев остывает:

— Знаешь, я бы дал себя завербовать в эту армию уборщиком.

В утренних сумерках Генрих толкает двухколесную тачку, нагруженную картофелем, мукой, горохом, все это в акkuratных мешочках и пакетиках. Банки с домашними консервами и все, что может разбиться, мы погрузили в детскую коляску, которую нашли в подвале. Значит, вот эта дорога через поле и есть славный путь к свободе, и сейчас, толкая перед собой детскую коляску, я начинаю победный марш.

Из дома нам навстречу выбегают Карл и Аннемария. Через поля и обвалившиеся дома видно шоссе, по которому едут американские танки. Из оконных проемов на третьем этаже дома, в котором в последнее время держали французских военнопленных, свисают гроздья людей, а перед ними — триколор, такой большой, что он почти окутывает каждого солдата, выглядывающего на ходу из люка танка.

— Владимир, да нет: Карл!

— Рудольф, нет: Рихард!

— Да, да, Аннемария, и только я по-прежнему остаюсь твоим Генрихом — всегда твоим Генрихом.

## ВИЛЛА В АРИСТОКРАТИЧЕСКОМ КВАРТАЛЕ

Нас допрашивают два дня. Мы даем показания на вилле в Нойостгейме, этом аристократическом предместье, которое до тех пор мы знали только как одну из трамвайных остановок между Зеккенгеймом и Маннгеймом. Такую форму, как та, что надета на людях, которым мы рассказываем нашу историю и отвечаем на вопросы, мог бы носить Генрих на сцене. Так они чисты, такие безупречные стрелки на брюках, а на воротничках блестят золотые буквы US и CIC. В обеденный перерыв они берут нас с собой в столовую. Господи, как можно посреди такого количества еды так мало есть?

— Все они нездоровые, ненормальные люди. Это из-за сбора сведений и бумажной работы, — заявляет Генрих. — Как они себя называют? CIC — Counter Intelligence Corps? Значит, интеллигенты, ну, это видно уже по тому, как они носят свою форму.

Они действительно какие-то странные. Кто и когда видел, чтобы человек несколько раз затягивался, а потом всю

сигарету, которую нормальные люди выкуривают, выбрасывал?

Когда мы закончили давать показания, нас ведут в другое, еще более роскошное помещение. Там стоят два офицера чином повыше. Один держит в руке листки с напечатанным текстом, и они оба его читают. Второй говорит нам несколько слов. Что это было? Похоже на идиш. Этот офицер говорит так, как разговаривали евреи в Польше, в Трестлинке.

— А молиться на иврите вас тоже не учили? — Офицер смотрит прямо на нас. Ну, здарсьте, они нам еще не совсем верят. А этот хочет устроить нам экзамен по ивриту.

Мой покойный дедушка, ты перечислил все мои грехи, когда я, помнишь, пришел на Рош-Хашана — еврейский праздник Нового года — с Пепи Горакком, гоем — не евреем — в синагогу, мы оба были без головных уборов и жевали конскую колбасу. Дедушка, я помню, как ты лежал передо мной в гетто Терезин в собственных нечистотах, со вскрытыми венами. Дедушка, помоги мне сейчас, сделай так, чтобы я вспомнил. Как это было, как это звучало тогда, когда в пятницу вечером, в шаббат, ты благодарил Его? Я же это запомнил, потому что мне понравилось, что Его благодарят не только за хлеб, но и за вино.

«Борух ато Адонай... гамоци лехем мин гаарец — это за хлеб... пери гагефэн — это за вино». Я не мог бы это правильно написать, я даже не знаю, какие звуки, какие слоги соединяются в отдельные слова. А может, этот офицер, этот новый капо вообще ничего не понял, привык к другому произношению? Вот он поворачивается ко второму капо, который, кажется, еще выше по званию, и говорит, всё «о'кей».

— Значит, на сегодняшний день вы окончательно победили, вы дали свидетельские показания. Вот подождите, вы еще станете знаменитыми, теперь мне надо держаться за вас, — рассуждает Генрих после ужина.

Позднее, вечером, на улице и у нас на лестничной клетке кое-что происходит. Двое парней, вероятно патруль, случайно поднимаются в нашу квартиру. Мы плохо понимаем друг друга. Мы пытаемся объяснить им, что мы чехи, а не немцы. Кажется, они оба из Нью-Йорка. Мы хлопаем друг

друга по плечам, они ласково похлопывают и Аннемарию. Потом, словно по приказу, направляют на нас свои автоматы. Шлемы, эти смешные ночные горшки, они не надевают, ими они бьют нас. Один толкает своим автоматом Аннемарию в грудь, так что она вскрикивает и падает. Тогда он хватается за волосы и тащит на лестницу. Второй выключает свет и направляет на нас луч своего фонаря. С лестничной площадки доносятся стоны и поскрипывание. Потом луч света исчезает, слышен топот убегающих людей. В темноте и полной тишине Аннемария с трудом поднимается вверх.

Они зажали ее в оконной нише на лестничной площадке и изнасиловали, по очереди. Это случилось вчера ночью. А сейчас раннее утро. Аннемария сидит на табуретке посреди пустой комнаты. На коленях у нее миска, она перебирает сухой горох. Мы никогда не сидели подолгу в этой комнате. Мы только складывали здесь добытые продукты и бутылки с вином. Нас трогает, что Аннемария сидит тут, такая одинокая, согнувшись над миской. Поэтому мы подсаживаемся к ней и помогаем перебирать горох.

Господи, ну хоть бы она на мгновение подняла голову, хватит уже неотрывно смотреть в миску. Проклятье... Вот она встает и уносит горох, с таким терпеливым выражением, словно она принесла себя нам в жертву. Наверное, мы еще должны быть и благодарны ей за это, чтобы она получила над нами превосходство, черт, это и есть победа?

— А что, собственно, с ней случилось? — Карл в ярости вскакивает. — Ей что, отрезали сиськи, как это делали там — в гетто? Или у нее убили сразу мать, отца, брата — как у меня? Да какое мне до нее дело, какое мне до всех дело?

— Да, да, отведи душу, сорви злость. — Генрих копается в кучке табака и окурков, которые он разложил перед собой на развернутую газету. — Дело вообще не в том, что она немка, мы чехи, а те — американцы. Война, они — солдаты, она — женщина, а мы — сраные штатские. Сколько я знаю по опыту, они пристрелили бы нас скорее из-за нее, а не потому, что мы — немцы. Эти двое ведь сговорились заранее, может быть, даже со своим командиром, который шатался где-нибудь поблизости. Это всегда делается в ту ночь, когда

отряд сменяется. Спорим, теперь эти двое уже Бог знает где. И никто ничего не докажет. В таких случаях вам не помогут и господа офицеры из аристократической виллы. — На время Генрих замолкает. — Из этого получилась бы, наверное, хорошая пьеса: двое, которые выбрались из Треблинки, единственные из целого миллиона людей, погибают от рук своих освободителей, защищая от них честь женщины из вражеского лагеря. Бред, чушь все это. Я только злюсь, что сразу не понял в чем дело, когда эти двое к нам зашли.

Генрих затягивается своей самокруткой.

— Что, собственно, удерживает нас здесь? Почему мы не можем тоже переехать в аристократический район? Господа распорядились, что вы должны ждать и быть поблизости. Скажите им, что из соображений безопасности вы хотите быть еще ближе к ним. Там достаточно разбомбленных вилл. Так давайте одну конфискуем.

Мы грузим все наши пожитки на двухколесную тачку, на велосипед Аннемарии и на детскую коляску той «исторической ночи». Колеса детской коляски вскоре под тяжестью груза ломаются, и мы тянем ее по улице, как санки. Генрих держит тачку за рукоять и с трудом сохраняет равновесие. Аннемария толкает нагруженный велосипед и смеется.

Недолго они с нами беседовали, офицеры из контрразведки, когда мы им сообщили, что хотели бы переехать поближе. Они сказали только «окей» и пообещали прислать кого-нибудь, кто о нас позаботится.

На следующий день перед нашей одноэтажной «виллой» с провалившимися стропилами и простреленными стенами останавливается джип. Из него вылезает костлявый, не очень молодой, но и не очень старый мужчина. Кажется, что в его военной форме поместилось бы несколько таких, как он. Шлем — горшок — на нем выглядит особенно смешно, потому что у него слишком маленькая голова.

— Я — раввин в этой армии, — начинает он на ломаном немецком, перемешанным с идишем. — Кроме молитв, я занимаюсь проблемами еврейских солдат и, если вы не против, я и у вас буду немножечко раввином. — Мы все еще стоим перед домом и рассматриваем белую надпись «капеллан» на джипе.



— Высшее командование решило, что все духовные лица в армии должны иметь одинаковые надписи на джипах. Поэтому у меня тоже написано «капеллан», а не «ребё». Звезду Давида мне дорисовали потом, чтобы меня не останавливали по дороге и не просили об отпущении грехов, но я и это уже совершал.

— Значит, это — еврейский фельдкурат\*, — поражается Генрих. — Но послушайте, вам придется делать более жалкие лица, выглядеть совсем несчастными, если он собирается о вас заботиться.

Для нас война закончена, но приходится ждать, пока она закончится для всех. Дни становятся длиннее, теплее, приятнее. В один из таких дней мы слышим сумасшедшие гудки, а потом видим темнокожего парня за рулем грузовика. Он улыбается, как сумасшедший. На стекло кабины он прикрепил армейскую газету «Stars and Stripes»\*\*. Во всю страницу огромными буквами напечатаны только два слова. Чем ближе машина, тем больше и отчетливее эти слова:

### Нацисты сдались

На дне большого бетонного бассейна, который раньше был наполнен водой для тушения пожаров во время воздушных налетов, а теперь, когда воду спустили, используется американцами как бейсбольная площадка, игра останавливается. В воздух летят биты, бейсбольные кепки и перчатки. Зрители на насыпи вскакивают и в восторге машут руками. Среди них маленький черный солдат с ладошками, светлыми, как у молодого медвежонка. Он кувыркается. Боец из отряда пуэрториканцев, который расквартирован в вилле напротив, стоит неподвижно, прислонившись лбом к стене. Из армейской кухни летят только что испеченные пышки. Пожилой господин в штатском, медленно шедший мимо, останавливается. Наклонившись, опирается на свою трость, оглядывается по сторонам. Его не слышно, но на лице читается вопрос: так война кончилась? Сегодня, 8 мая 1945 года?

---

\* Военный католический священник в Австрии.

\*\* «Звезды и полосы» (англ.).

Когда темнеет, все срывают с окон затемнение, чтобы сделать еще светлее эту ночь летнего солнцестояния.

Небо прорезают лучи прожекторов. Мое внимание приковывает один, он курсирует по небу откуда-то с той стороны Рейна с регулярностью огромного метронома. Я знаю, какие сигналы посылает этот парень всему миру: «Меня больше не убьют — не уничтожат — я буду жить — любить — жить».

## ИСКУПЛЕНИЕ ИГРОЙ НА ФАГОТЕ

В 60-е и в начале 70-х в земельном суде в Дюссельдорфе состоялись два больших процесса над палачами Треблинки. Первый — против Куклы-Франца, Ангела Смерти-Мите и нескольких других. Второй — против «владельца замка» Штангля, которого Бразилия экстрадировала в Федеративную Республику. Он работал в Сан-Паулу на заводе концерна «Фольксваген». В его личном деле не было ни пятнышка — чисто. Все трое получили пожизненное тюремное заключение. Штангль умер вскоре после этого от инфаркта. Мите тоже умер в тюрьме. Франц находился в тюрьме и был жив, во всяком случае, еще в конце 1990 года.

Говорят, Сухомел, один из самых мягких, на суде заявил:

— Господин председатель суда, все эти годы до моего ареста я играл в нашей церковной капелле на фаготе — всегда бесплатно.

Неужели действие ручной гранаты может быть иногда таким незначительным? В последний раз я видел его во время восстания, когда он в своей белой форме пропал в облаке от взрыва гранаты. Он тоже умер, после того как отсидел шесть лет и был выпущен из тюрьмы. Кюттнера после ранения не нашли. Ходили слухи, что он скрылся в ГДР. На обоих процессах давали свидетельские показания пятьдесят четыре человека, уцелевших во время восстания в Треблинке. Они выжили разными способами и на процессы приехали из разных стран мира. Пятьдесят четыре из восьмисот тысяч? Девятисот тысяч? Одного миллиона? Я тоже выступал в качестве свидетеля. Все время я напряженно ждал одного заявления. Может быть, самое большое удовлетво-

ние я получил от того, что его никто не сделал. Никто из них не поднялся, не встал по стойке «смирно» и не заявил, глядя прямо перед собой: «Да, я сделал это по убеждению, я был и остаюсь преданным этой идее и готов в любое время понести за это ответственность». Ни один.

К моему разочарованию, на скамье подсудимых не сидели «начальники строительства» лагеря Треблинка, которые вынашивали этот план, не было там и тех, кто воплотил в чертежи общий план строительства, и тех, кто разработал проект герметизации газовых камер, — и уж само собой разумеется, тех, кто «откуда-то извне руководил сверху всем процессом производства».

Единственное каменное здание в лагере, газовые камеры, не было разрушено во время восстания. Говорят, там еще отравили газом несколько сотен человек. Осенью 1943 года лагерь окончательно ликвидировали, всю территорию перепахали и заселили семьями украинских крестьян, которые должны были создать там сельскохозяйственные предприятия. Позднее они бежали — от страха перед приближающимися русскими, или перед призраками мертвецов, или перед живыми призраками, копающими землю по ночам в поисках золота и драгоценностей. Сегодня на месте лагеря воздвигнут впечатляющий монумент.

После гитлеровского ужаса я пережил в бывшей ЧССР тяжесть сталинского режима. Я утешал себя тем, что он не порожден собственными темными силами народа, а навязан извне.

С 1951 по 1953 год я, как политически неблагонадежный элемент, должен был работать на металлургическом заводе. Ребята там были немало удивлены, что эта «чернильная крыса» умеет обращаться с тяжелыми кузнечными прессами, печами и раскаленными заготовками. Когда политические условия начали понемногу изменяться и появились первые признаки будущей «весны», мои дела снова пошли вверх.

После разгрома Пражской весны я с женой, дочкой и сыном бежал в Швейцарию. Я объяснил им, что будет лучше, если мы решимся и бросим всё — дом, в котором выросла моя жена, сад, в котором учились ходить наши дети, — сей-

час, чем если в ближайшие дни нас депортируют. По сравнению с Трешлиной это был красивый, аристократичный побег.

Что произошло с бриллиантами, которые «выжили» вместе с нами, а мы с ними? Из них сделали два одинаковых кольца. Одно носит Джин, сегодня — вдова Карла Унгера, живущая в США. Второе — моя жена. Сегодня, наверное, можно было бы начать историю этих двух колец словами: «В некотором государстве было место, огороженное высоким зеленым забором...»

## ПЛАН ЛАГЕРЯ ТРЕБЛИНКА

(по описанию автора)

### 1—3 — «казарма имени Макса Биалы»

- 1 — казармы (украинских) охранников-эсэсовцев
- 2 — казармы (украинских) охранников эсэсовцев
- 3 — администрация и амбулатория для эсэсовцев
- 4 — инструментальная кладовая «картофельной» бригады
- 5 — «зооуголок», называемый также зоопарком

6 — конюшня

7 — сарай

8 — прачечная для СС

9 — запланированная пекарня (не была построена)

10 — запланированная кладовая (не была построена)

11 — «большая касса», место работы «золотых евреев»

### 12—24 — так называемое гетто

12 — кухня для заключенных евреев

13 — прачечная для охранников

14 — амбулатория для евреев

15 — спальный барак «придворных евреев»

16 — швейная и шорная мастерские

17 — столярная мастерская

18 — слесарная мастерская

19 — спальный барак заключенных еврейских женщин

20 — жестяная мастерская

21 — склад мастерских 16—18 и 20

22 — спальный барак «рабочих евреев», так называемый «барак Б»

23 — умывальная

24 — спальный барак «рабочих евреев», так называемый «барак А»

25 — узкий проход между заборами из колючей проволоки; этот проход из первого(приемного) лагеря во второй (лагерь смерти) использовался исключительно эсэсовцами и охранниками

26 — барак, где раздевались женщины, с так называемой парикмахерской

27 — «маленькая касса» в «трубе»

28 — барак с древесиной и строительным материалом, в нем — дезинфекционный котел

29 — моторное отделение новых газовых камер

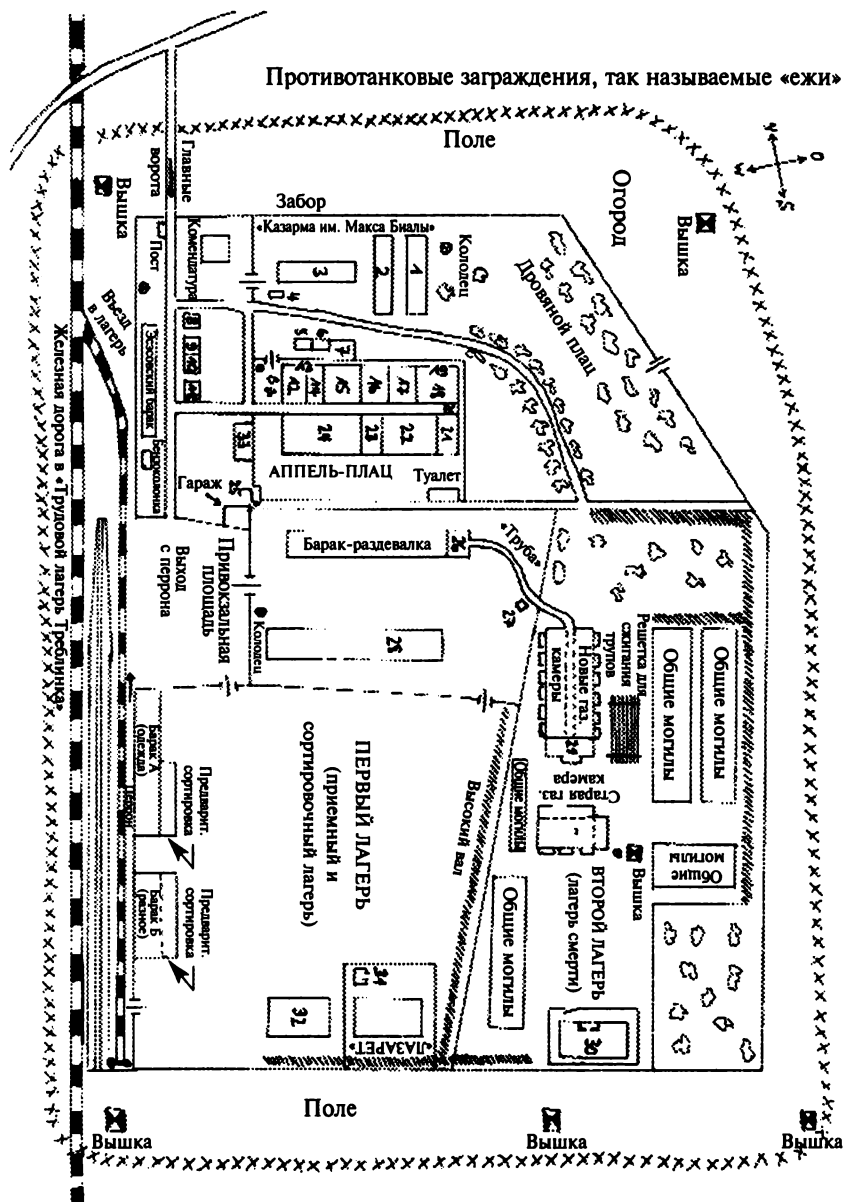
30 — спальный барак «рабочих евреев» во втором лагере (лагерь смерти)

31 — маленькая деревянная будка с символом Красного Креста в «лазарете»

32 — яма для мусора и отходов

33 — склад с продуктами для еврейской кухни

Противотанковые заграждения, так называемые «ежи»



## СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ — УЧАСТНИК ПОДВИГА

Карта Европы хранит десятки названий, в которых человеческое восприятие никогда уже не различит их первоначальных значений, искаженных, изувеченных шквалом истории. Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Хатынь, Бабий Яр, Треблинка... Трудно расслышать, что, к примеру, Треблинка «звучит нежно».

Автор книги «Ад за зеленой изгородью» Рихард Глацар слышал и тем самым не только подчеркнул чудовищность событий, связанных в нашем сознании с этим мирным и нежным славянским топонимом, но привнес в свое документальное повествование момент художественного обобщения, преобразования *факта в образ*. Это одна из отличительных черт замечательной книги Рихарда Глацара: достоверность подробностей, тяготеющих к символу.

Умение видеть так, да к тому же в экстремальной обстановке — редкий дар. Волею судьбы им оказался наделен один из узников Треблинки — концентрационного лагеря в Польше, предназначенного для уничтожения евреев. Девятнадцатилетним юношей попал Рихард Глацар на эту «фабрику смерти», в ад за зеленой изгородью и, с юношеской впечатлительностью впитав увиденное, выступил впоследствии свидетелем обвинения — не только на послевоенных судебных процессах, но и перед лицом истории.

В своих воспоминаниях Глацар старается быть предельно честным. Он не скрывает, как часто моделировал в воображении ситуацию под названием: «Если б я был эсэсовцем». Но куда чаще живое воображение юноши рисовало картины протеста, возмущенного бунта, до которого в реальности было еще очень далеко. Тем временем день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем в Треблинку прибывали переполненные эшелоны, и в небольшом концлагере, не рассчитанном на такое количество заключенных, кипела работа: санобработка, разбор и

сортировка вещей, поиски драгоценностей и — главное — систематическое уничтожение узников.

За два года в Треблинке уничтожили девятьсот тысяч человек. Эшелоны прибывали разные — нищие с Востока, сытые с Запада, разукрашенные с Юга, но всех пассажиров ждала одна гибельная участь. Смерть являлась в облике грубого скуластого Хиртрайтера, который «с бабами настоящий скот», или «кроткого стрелка, ангела смерти Августа Вилли Мите», или Кюттнера, или Петцингера, пропахшего сладковатым смрадом сожженных тел убиенных. Технология удушения и сжигания была недоработана и отлаживалась на ходу, потому-то в лагерных разговорах часто слышались сетования, что «не так-то просто сжечь такое количество людей, к тому же — на открытом огне... Ведь человек не очень хорошо горит, скорее даже плохо...»

Почти по Брехту: «Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны...» Обессиленных лагерников подгоняют плетками надзиратели. При малейшей попытке протеста начинаются истязания: можно заставить узников бегать до изнеможения, или подвергнуть тупому избиению, или наказать повешением вниз головой — впрочем, можно все...

Конвейер превращения жизни в смерть действует без остановки. Подробности этого процесса столь достоверны и выразительны, что пассивность узников Треблинки, их безропотность и покорность судьбе удивляют. Вот и Глацар пишет: «Почему я пристально рассматриваю каждого новенького? Чего я жду? Что он вдруг вззоет, бросится на них с отчаянным криком... Нет, он этого не делает. Значит, он такое же дерьмо, как я, как все здесь. Ну что же, добро пожаловать в нашу компанию».

Что ж, для кого-то это тоже выход: ведь со временем выясняется, что при развитом инстинкте самосохранения и некоторой изворотливости в Треблинке можно не только выжить, но даже неплохо устроиться: находить для себя в ворохах одежды тонкое белье и красивые шмотки, жрать шоколад и курить хорошие сигареты, порой заходить в швейные мастерские, «чтобы немного поиграть в жизнь», или разглядывать санобработку прибывшего эшелона и, толкнув приятеля в бок, хмыкнуть: «Ну что, сбылась твоя мечта увидеть сразу такую толпу голых баб?» Да и кое-какие развлечения начальство позволяет, особенно так называемым «золотым евреям»...

Но нет, человеческий дух не выдерживает такого глумления, и постепенно, исподволь складывается группа, берущая на се-



бя организацию восстания: староста лагеря степенный Галевский, доктор Хоронжицкий, лейтенант с плакатной арийской внешностью Руди Масарек и другие... В бараке можно услышать, как кто-то поет псалом царя Давида: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною...» Не забудем, что Трeблинка — концлагерь для евреев, потому-то вся многовековая история гонимого народа, все его герои и символы укрепляют решимость отчаявшихся людей. Не случайно чаще других возникает образ из ветхозаветных преданий: «Здесь нужен только длинноволосый безумец, который разрушил колонны!» Мы понимаем, что речь о Самсоне, и мысленно соглашаемся — воистину так... Но чем не ровня библейскому герою великолепный Штанда Лихтблау, работающий в лагерном гараже, при авто и цистернах с бензином, готовый сгореть заживо, но запалить проклятый концлагерь в память убиенных жены и дочери! Приветствия, которыми посвященные обмениваются перед восстанием, напоминают автору Йом Кипур — Судный день...

Это и впрямь великий день — восстание в Трeблинке, праздник человеческого достоинства, мужества и свободы. Все совершается невероятно быстро, стремительно — в считанные минуты. Но зоркий Рихард Глацар успевает заметить, что зарево над Трeблинкой (Штанда Лихтблау сдержал клятву!) не того цвета, какое было, когда там сжигали людей. Позади бегущих на свободу узников остаются часы на башне — белый циферблат, рассеченный недвижными, вертикально стоящими стрелками. А вокруг башни горят бараки и ухоженные палисадники у газовых камер, дымится и тлеет зеленая изгородь, скрывающая ад...

Бежавших из Трeблинки преследуют, их ждут опасности и испытания, пьянящий воздух свободы, шок от забытого женского поцелуя и — агония заклятого врага. Впереди встреча с победителями — тоже, кстати, не всегда сулящая свободу.

Многие годы Рихард Глацар нес свою нелегкую ношу, но все-таки не выдержал ее и, преследуемый воспоминаниями, покончил жизнь самоубийством. «Ты знаешь, кто я, кто мы? Какое свидетельство мы несем в себе?»

*Александр ЭБАНОИДЗЕ*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вольфганг Бенц. Предисловие</i> . . . . .	5
Звезды запачканы прахом земным . . . . .	11
Со скотом обращаться я умею . . . . .	12
Слишком богатое воображение . . . . .	18
Треблинка . . . . .	21
Моя следующая пижама . . . . .	26
«Или, Или — в огонь и пламя гонят они нас...» . . . . .	33
Таинственная мастерская смерти . . . . .	38
Десять за одного . . . . .	42
Палачи и могильщики . . . . .	49
Что-то маленькое, что можно спрятать в карман . . . . .	63
Тиф против акции «Ч» . . . . .	73
Балканское интермеццо . . . . .	88
Раскрашенные всадники антихриста... . . . . .	105
Ключ от склада боеприпасов . . . . .	114
Маскарад . . . . .	121
Маскировка . . . . .	130
2 августа 1943 года . . . . .	140
По Польше. Немного влево, немного вправо . . . . .	150
Рейнская сталь и рейнское вино . . . . .	165
Смешные горшки у них на головах . . . . .	179
Вилла в аристократическом квартале . . . . .	192
Искушение игрой на фаготе . . . . .	197
План лагеря Треблинка . . . . .	200
<i>Александр Эбаноидзе.</i>	
Свидетель обвинения — участник подвига . . . . .	202

**Глацар Р.**  
Г52      Ад за зеленой изгородью. Записки выжившего в Трeблiнкe:  
Пер. с нем. — М.: Текст, 2002. — 205 с.  
ISBN 5-7516-0308-7

Книга Рихарда Глацара (1920—1998), одного из немногих спасшихся узников нацистского лагеря уничтожения Трeблiнкa, — поразительное свидетельство страшных преступлений гитлеровского режима. Из почти миллиона евреев, попавших в Трeблiнкy, выжило не более ста человек.

УДК 821.112.2  
ББК 84(4Гем)

*Рихард Глацар*  
*Ад за зеленой*  
*изгородью*

**ЗАПИСКИ ВЫЖИВШЕГО В ТРЕБЛИНКЕ**

**Редактор В.И.Генкин**

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000

Подписано в печать 20.02.02. Формат 60 × 90/16.

Усл. печ. л. 13. Уч.-изд. л. 11,78. Тираж 3500 экз. Изд. № 405.

Заказ № 5652

**Издательство «Текст»**

125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1

Тел./факс: (095) 150-04-82

E-mail: [textpubl@mtu-net.ru](mailto:textpubl@mtu-net.ru)

<http://www.mtu-net.ru/textpubl>

Представитель в Санкт-Петербурге: (812) 311-96-31

Отпечатано в полном соответствии

с качеством предоставленных диапозитивов

в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

Рихард Глацар родился в 1920 г. в Праге в еврейской семье. После оккупации Чехословакии родители спрятали Рихарда в захолустной деревне, но в 1942 г. он попадает в руки нацистов и оказывается в Терезинском гетто, а затем в лагере уничтожения Трешлинка. Десять месяцев пробыл Глацар в гитлеровском лагере. В 1943 г. вместе с горсткой уцелевших узников он бежит через Польшу в Германию, где под чужим именем работает до конца войны.

После освобождения Глацар возвращается в Прагу, но в 1968 г., когда в город вошли советские танки, он покидает страну. Преследуемый воспоминаниями о кошмаре Трешлинка, в 1998 г. Рихард Глацар покончил с собой.

Из девяносто тысяч евреев, прошедших Трешлинку, в живых осталось менее ста человек.

ISBN 5-7516-0308-7

